



16+

Виктор ДЬЯКОВ

ДОРОГА В НИКУДА

книга первая

роман

Виктор Дьяков
Дорога в никуда

«ЛитРес: Самиздат»

2010

Дьяков В. Е.

Дорога в никуда / В. Е. Дьяков — «ЛитРес: Самиздат», 2010

В Долине, лежащей между Алтайскими горами, Калбинским хребтом и озером Зайсан, с XVIII века селился русский люд: староверы, рудные рабочие, казаки, крестьяне-переселенцы. Об их жизни и огненных вихрях первой трети XX века, о Революции, Гражданской войне, о красных и белых, эмиграции, обо всех перипетиях их жизненных судеб рассказывает эта книга... О любви, которая помогла главным героям пережить ужасы братоубийственной войны, гибель близких, и не опустится на дно жизни.

© Дьяков В. Е., 2010

© ЛитРес: Самиздат, 2010

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ: НАЧАЛО ПУТИ	6
ПРОЛОГ	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: БУХТАРМИНСКИЙ КРАЙ	10
1	10
2	14
3	18
4	22
5	26
6	30
7	35
8	38
9	43
10	47
11	49
12	54
13	57
14	60
15	64
16	67
17	71
18	74
19	78
20	82
21	85
22	89
Конец ознакомительного фрагмента.	91

КНИГА ПЕРВАЯ: НАЧАЛО ПУТИ

*Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадет;
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен,
Низвергнутый не защитит закон...
М. Лермонтов*

ПРОЛОГ

Замысловатой конфигурации впадина, которая образовалась на среднегорье между Алтайскими горами, Калбинским хребтом и озером Зайсан, напоминала, если смотреть сверху, циклопических размеров отпечаток узкого кувшина, или кофейника с длинным соском. «Кофейник» протянулся километров на двести с лишком, «сосок» примерно на сотню. Широким горлышком служил Зайсан, а вот в «дне» имелось ещё одно узкое отверстие. В «кофейник» через горлышко-Зайсан втекала, относительно спокойно преодолевав эти двести километров по долине и вытекала из «донного отверстия» неширокая, но полноводная река Иртыш. Справа и слева со склонов гор несли к Иртышу свои воды многочисленные реки и речушки. Самая большая, беспокойная Бухтарма, сама образовала долину, тот самый «сосок», примыкавший к долине Иртыша. Вместе они составляли единую долину-кофейник, что позднее стали именовать Бухтарминским краем.

Долина издревле располагалась на границе обитания жителей гор и степей. В 16 – 17 веках здесь была северная окраина в то время мощного и агрессивного союза ойротских племен, Джунгарского ханства. Джунгары воевали едва ли не со всеми своими соседями. Особенно доставалось казахам, против которых они часто проводили успешные походы, отвоевывая у них земли и пастбища. Долина же была словно специально создана для любителей рыбачить и охотиться. Здесь они находили лёгкую добычу в густых камышах, высоких травах, березово-осиновых, слегка разбавленных сосной перелесках, или в хвойной тайге, что простиралась выше в горах. Эти места буквально кишели разнообразным зверем, а в межсезонье перелётной птицей. Не меньшие богатства таили и реки: вверх и вниз по течению на икромёт и обратно ходили рыбные косяки: осётр, стерлядь, таймень, хариус, лещ, плотва...

Первыми русскими, пришедшими в Долину в начале 18 века, стали раскольники-староверы. Спасаясь от преследований официальной церкви, хранители допетровской веры и жизни для поселения облюбовали не «кувшин», а «сосок» в верхнем и среднем течении Бухтармы, где в глухой тайге основали кержацкие деревни и скиты. Затем подросла и официальная власть. Майор Лихарев с воинской командой, исполняя царский приказ, поднялся вверх по Иртышу до самого устья каменных гор, где и столкнулся с джунгарами, успев, впрочем, основать крепость Усть-Каменную. А позднее под руководством горноприсяжного офицера, сына плененного под Полтавой шведа, Филиппа Риддера, здесь появились крепостные горнозаводские рабочие – разведчики руд. В Петербурге не долго колебались, присоединять, или нет этот край к растущей во все стороны державе. Главную роль сыграли богатейшие запасы руд и далеко не последней взаимное ослабление как джунгар, так и среднего казахского жуза, претендентов на эти земли. Оба кочевых народа в войнах друг с другом стремились заручиться поддержкой России. Но тут свое веское слово сказал Китай. В поднебесной тоже хотели присоединить к себе земли, как джунгар, так и разрозненных казахских ханств – жузов. В середине 18 века китайская армия фактически стирает с лица земного Джунгарию и наносит серьезные поражения казахам. И быть бы все так, как планировали в Пекине, если бы... Маломощный хан среднего жуза, напуганный судьбой джунгар, поспешил «прислониться» к России и, естественно, уже не помышлял о джунгарских землях. Китай же не решился вступать в конфронтацию с могучей северной державой и, удовлетворившись Синцзяном, отказался от претензий на западные и северные районы бывшей Джунгарии, Семиречье и Верхнеиртышье. Так Долина окончательно вошла в состав России. Граница прошла по Иртышу, правый берег стал русским, левый отошел казахам, или, как тогда именовали степняков, киргиз-кайсацам.

Пригнали подневольный крепостной народ, коего в России тогда было много. Стали рыть и долбить горы, закладывать шахты и рудники. А по берегу Иртыша поселили и определили на службу по охране пограничных рубежей казаков. У подножия гор вокруг крепости Усть-Каменной вырос город. В самой Долине у впадения Бухтармы в Иртыш заложили крепость Усть-Бухтарминскую, а меж ними и далее до самого Зайсана вдоль берега цепочкой расположились казачьи посёлки и станицы. Казаки стерегли границу, а заодно и крепостных горнозаводских рабочих – помогали горной страже ловить беглых. Дёшево стоила жизнь тех рабочих, трудившихся в тёмных и сырых забоях по 14 часов в сутки, не все сдюживали положенные 25 лет, после которых им полагалась «вольная». Потому бегали часто. Казаки же окромя царёвой службы не брезговали чёрным крестьянским трудом, не даром же на каждого из них выделялось по тридцать десятин отличной пойменной земли. И тут открылось ещё одно богатство Долины: мало, что в окрестностях зверя – бей не хочу, птицы – стреляй не целясь, рыбы – руками лови, намытая реками за послеледниковые тысячелетия пойменная земля таила огромную родящую силу. Хорошо зажили казаки, славя царя и землю эту. Крепостное право отменили – еще лучше казакам стало. И беглых стеречь не надо, да и граница отошла дальше за горы и за степь: окончательно встал потомок маломощного хана под высокую руку русского царя. А вот рабочим на рудниках, даже преобразование их из крепостных в наёмных особого облегчения не принесло. В наследие от прошлого существования они получили такие черты как равнодушие к комфорту, сказывавшееся в убранстве их жилищ, угрюмость, сумрачность характеров. Буд-то на них клеймом отпечатался тот подземный мрак, среди которого им и их предкам приходилось мучиться. Ненависть к казакам тоже была у них наследственной, замешанная на зависти к достатку станичников, ухоженности их женщин, возможности время от времени устраивать себе праздники, веселье.

Начало 20 века в России выдалось бурным и умный царский министр (хоть и нечасто такие случались) надеясь разрядить взрывоопасную обстановку в центральных губерниях страны, решил переселить наиболее бедных, мало и безземельных крестьян. Многотысячные вереницы нищего люда потянулись на окраины огромной империи, гонимые выстраданной многими поколениями крепостных предков мечтой о труде на своей земле и на себя. Сурово встретили новосёлов казаки, не скрывая сословного презрения к потомкам вчерашних рабов. Не выказали радости и кержаки-староверы, по-прежнему живущие своим обособленным миром и никого в него не пускавшие. А Долина, как по-хорошему не выдоенная корова, томящаяся по умелой, жадной до работы доярке, будто все тысячелетия своего существования ждала именно их. Посмеивались казаки, глядя на муравьиную возню оголодавших по земле пришлых людей. Но брошенное в тучную землю умелыми руками зерно год от году колосилось всё гуще. Прошёл год, второй, третий, слова голод, неурожай новосёлы вспоминали всё реже. Самые трудолюбивые и домовитые начали продавать хлебные излишки заезжим купцам, обстраивались, прикупали землю тех, кто не смог свести концы с концами даже на такой земле, арендовали её у казаков... И всё равно не могли не завидовать казакам – лучшие земли и лучшие луга были у них, а все множась новосёлам земли уже и здесь стало не хватать...

Первые новосёлы, прибывшие до 1910 года, успели получить относительно неплохие участки, но кто приехал позднее... Из них многие не сумели зацепиться, обжиться, используя правительственную ссуду на переселение. Оставаясь без денег, скотины, земли они шли в батраки к казакам, кержакам, или своим зажиточным односельчанам. Дешёвый батрацкий труд ещё более обогащал богатых и раскалывал общество уже не столько по социальному, сколько по имущественному признаку. Но внешне всё вроде бы выглядело чинно и благопристойно, а главное здесь не было основной российской напасти того времени – голода. Новосёлов селили

отдельными деревнями на землях принадлежавших Кабинету его Императорского величества, где им на каждую рабочую мужскую душу выделяли по десять десятин. Счастье новосёлов – сытое житьё, оказалось совсем коротким, всего несколько лет. Первая мировая война оторвала от земли-кормилицы большую часть крепких мужских рук. Казаков отправляли на фронт не столь огульно, у них существовала своя особая система прохождения службы и мобилизации в случае войны. Но и их многих, сформировав боевые сотни, сведя в полки и бригады, направили на фронт. Однако в 16-м году случился бунт казахов, то есть киргиз-кайсацев, против мобилизации на принудительные тыловые военные работы. Как и всякий бунт был он жесток и беспощаден, и в основном его жертвами стали семьи русских и малороссийских крестьян-новосёлов, получивших земельные наделы в степи к югу и западу от Долины.

На подавление восстания привлекли как казаков оставленных в тыловых частях, так и сняли с фронта несколько полков. У людей, выросших в недружественном соседстве с другими народами ненависть к инородцам воспитывается с рождения. Здесь её подогрел вид сожженных деревень, церквей, загубленных хлебопашцев, и, что особенно разъярило казаков, поруганных баб и девок. Хоть и свысока смотрели они на новосёлов, но тогда их обиду восприняли как свою, как русские, православные. Восстание подавили быстро. Где там степнякам-скотоводам тягаться с фронтовиками, да ещё с такими, с измальства обученными рубке и стрельбе. Кара последовала страшная – много раскосых людей в чапанах и малахях полегло под казачьими пашками. Много степняков ушло тогда за кордон, в Китай.

Наступил 17-й год. Революционные вихри Февраля обошли кофейнообразную Долину стороной, но дезертировавшие с фронта солдаты из рабочих и новосёлов, да и приходившие в станицы раненые и отпускные казаки приносили тревожные вести. Что-то непонятное творилось там, в столицах империи: митинговали, бунтовали. С опаской и удивлением воспринимались новости из «Рассеи»: и что это там все взбеленились, и как это можно жить без царя? Здесь предпочитали жить по старому: пахали, сеяли, добывали руду, несли караулы в составе самоохранных сотен. Впрочем, рудничные рабочие, в отличие от казаков – верных царевых служак, новоселов, ещё не определившихся в своих симпатиях, и аполитичных кержаков... Рабочие, конечно, были рады переменам – при царе-то им в этом крае жилось хуже всех. И именно рабочие с риддерских и зыряновских рудников поддержали после октября советскую власть. Правда кроме этих рудничных посёлков объявились Советы только в областном центре, в Семипалатинске, в уездном Усть-Каменогорске, да и то всю власть тамошние совдепы взять не смогли, имело место хрупкое двоевластие с прежней властью, земской думой, а на местах, в глубинке, в станицах, казачьих посёлках, кержацких и новосельских деревнях...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: БУХТАРМИНСКИЙ КРАЙ

*Эти стаи привел на Иртыш Ермак,
Здесь они карагач на костры вырубали,
И селились станицами возле зеленой волны.*

П. Васильев

1

От Усть-Каменогорска, уездного центра и местонахождения штаба третьего отдела Сибирского линейного казачьего войска, добраться до Уст-Бухтармы было непросто. Летом либо на пароходе по Иртышу, либо больше ста двадцати вёрст через высокогорные перевалы. А зимой, когда, случалось, перевалы засыпало снегом, а на Иртыше не было крепкого льда, весь Бухтарминский край фактически был отрезан. В общем, глухомань глухоманью, но жили в этой глухомани казаки, пожалуй, побогаче всех не только в третьем отделе, но и во всём Сибирском казачьем войске. До центра области Семипалатинска от Усть-Бухтармы уже более трехсот вёрст, а до столицы войска Омска, аж свыше восьмисот. Потому с февраля 1917, после отречения царя, у усть-бухтарминцев вошло в привычку решать свои дела, не больно оглядываясь, ни на войсковое, ни на отдельское командование.

Усть-Бухтарма располагалась у основания «соска кофейника». Собственно станица раскинулась на правом берегу Бухтармы, и примерно в версте от Иртыша. Так расположили ее ввиду того, что Иртыш по весне разливался и затапливал до полуверсты поймы. А для удобства пароходного сообщения, в качестве станичного аванпорта служила деревенька Гусиная пристань. Там имелся причал, располагавшийся на наиболее высоком незатопляемом месте иртышского побережья, сооруженный в свое время для дальнейшей транспортировки баржами доставляемой гужевым способом руды с Зыряновского рудника. От станицы сюда вела дорога и мост через Бухтарму. Иртыш глубок, но не широк, от силы полверсты, а местами и уже. Однако, только правый берег заселён, обжит, распахан, а левый в основном пустынен, хоть тоже уже более полувека входил в состав России, но его по-прежнему, по-старинке звали киргиз-кайсацким. Правый берег и пойма Бухтармы как будто созданы для земледелия и не только потому, что относительно ровного пространства здесь больше. Направление ветров тут таково, что от прямого «дыхания Севера» эта часть «кофейника» оберегалась, а зимой здесь скапливалось много снега. Благодаря этому, и озимые надёжно укрывались, и после снеготаяния влаги в земле хватало, даже если лето выдавалось сухим, а в урожайные годы травы вырастали такие, что сена с одного лета заготавливали на две-три зимы.

Многоснежной выдалась зима и с семнадцатого на восемнадцатый год. Впрочем, озимые осенью семнадцатого засеяли не все станичники, хотя большинство управились. Повезло тем, у кого сыновья служили в первоочередном третьем казачьем полку. Не стали относительно молодых первоочередников посылать под пули, и потому полк всю войну простоял частично в Омске, частично на месте своей постоянной дислокации совсем недалёко, в Зайсане, занимаясь обычным «казачьим» делом, охраняя границу с Китаем от хребта Тарбагатай до горного Чуйского тракта. Командование полка, конечно же, шло навстречу и предоставляло служивым отпуска домой в период сева и уборки урожая. Хуже пришлось тем семьям, у кого казаки служили во второочередном 6-м полку. Как ушли второочередники в пятнадцатом году на Северо-Западный фронт, так с тех пор изредка только в отпуск по ранению приходили, или

комиссованные калеки. Среди них насчитывалось и более всего погибших – уже с десятков ещё молодых «второочередных» вдов носили в станице черные платки. Не многим более повезло и третьоочередникам, тридцати-тридцатичетырехлетним семейным казакам, служившим в 9-м полку. Эти весь 1915 год пробыли на том же Северо-Западном фронте, а в шестнадцатом их сняли с позиций и бросили против взбунтовавшихся киргиз-кайсацев. Однако и их после подавления восстания не оставили вблизи родных мест, а отправили через Ташкент в Персию, воевать против турок. Оттуда тоже на полевые работы не отпросишься. В общем, в тех семьях, где оставались женщины, дети и немощные старики, озимые так и не посадили.

В деревнях у большинства крестьян-новосёлов дела обстояли ещё хуже. Там здоровых мужиков призвали едва ли не поголовно, и в тылу редко кто оставался. Но в 17 году в армии началось такое дезертирство, что многие вернулись и засеяли свои десятины, в основном втихую, но многие и открыто, в наглую – дескать, никакой власти не боюсь. Но таковых было немного, так что по сравнению с новосёлами усть-бухтарминские казаки зиму переживали куда легче. Многие запас со старых времен имели, да и станичный атаман Фокин всегда оказывал помощь казачьим семьям, оставшимся без кормильцев. Выдавал атаман из войсковых амбаров тех же семян на посев, организовывал за счёт станичного правления помощь лошадьми или инвентарём. Ну, а совсем «плохим», одиноким вдовам, или старикам просто выдавал хлеб и прочее продовольствие. Всё это имелось в распоряжение атамана, так как станица была большой и богатой. До войны здесь почти не было казачьей голытьбы, как на той же Горькой линии, в 1-м и 2-м отделах, Кокчетавском и Омском. Да и в 3-м весьма «хлебном» отделе, от Павлодара до Зайсана ни одна станица, ни один посёлок не могли сравниться с Усть-Бухтармой, разве что на Бийской линии казаки жили так же хорошо.

Революцию в октябре и новую власть восприняли, в общем, спокойно, никак. Здесь, как и по всей горной Бухтарминской линии ничего не изменилось, атаманы в станицах и посёлках как были, так и остались, никто никого не смещал. Казаки настороженно выжидали, не веря, что эта власть укрепитя и продержится дольше, чем свергнутое Временное правительство. Правда, одну инициативу большевиков станичники встретили с радостью, известие, что Россия выходит из войны и демобилизует армию. Это означало, что теперь домой вернутся казаки и с германского фронта, и из Персии, не говоря уж о переждавших всю войну в тылу первоочередниках. Ещё большую радость вызвало это известие в деревнях у новосёлов, хотя там уже и без того многие служивые бросили фронт и, прибежав домой, прятались за печками и по заимкам. А сейчас получалось, что и прятаться не надо, новая власть сама войну прикончила, и дезертиры больше не дезертиры...

Усть-Бухтарма состояла в основном из добротных пятистенных и крестовых домов, рубленых из брёвен лиственницы, имела продольные улицы и поперечные переулки. Улицы начинались от крепости и берега Бухтармы и постепенно поднимались вверх на добрые полверсты с лишком. Причём административный и деловой центр получался именно на краю станицы, возле крепости. Он представлял из себя мощёную булыжником площадь, ограниченную с одной стороны большим одноэтажным прямоугольным зданием станичного правления, с другой, каменной церковью с колокольней, с третьей школой, то есть высшим начальным станичным училищем и фельдшерско-акушерским пунктом, с четвёртой осевшим земляным валом крепости. В самой крепости находились казённые войсковые склады с провиантом, фуражом, оружием, боеприпасами и амуницией. Этот запас делали на случай, если Бухтарминская линия вдруг окажется отрезанной от основных баз снабжения, например, зимой, и тогда все верхнеиртышские казачьи станицы и посёлки в случае нападения неприятеля из-за границы, или бунта инородцев, вполне могли некоторое время продержаться и самостоятельно.

В крепости постоянно наряжались караульные казаки. В войну для этих надобностей использовали «статейников», из тех, кто по состоянию здоровья не попал ни в один из полков, выставляемых в военное время третьим отделом: в первоочередной третий, второочередной шестой, третьеочередной девятый. Вплотную к площади примыкали и прочие «казённые» здания, почты-телеграфа, государственной сберегательной кассы, таможни, ну и частные заведения – лавки, цирюльни, трактир, пара кабаков, постоялый двор. Всего населения в станице более трёх тысяч душ обоёго пола, причём казачье сословие составляло более двух третей. Остальные, это всевозможные мещане-ремесленники, новосёлы, батрачившие у зажиточных казаков. Ну и особая каста, это немногочисленные чиновники почты и телеграфа, волостного управления, отделения областного банка, учителя, приказчики, ведавшие принадлежавшими семипалатинским и усть-каменогорским купцам лавками и складами товаров, приемными пунктами по скупке хлеба, пушнины, рыбы, мёда, сплавляемого по Бухтарме и Иртышу леса...

Февраль, безоблачное небо, солнышко вроде бы пригревает, но относительно тепло только под его лучами, а так зима ещё в силе. Потому в станичном правлении все печи хорошо протоплены. В кабинете атамана тепло и уютно. Место на стене, где ещё год назад висел портрет государя-императора, сиротливо пустует. Команды «вешать» Керенского из штаба отдела за всё его недолгое время правления так и не поступило. Тем более сейчас, не поймёшь, что за власть там в Питере. Да и в непосредственной близости, в уездном центре Усть-Каменогорске, так же как в Семипалатинске и Омске не то двоевластие, не то троевластие. Тут тебе и большевики со своим Совдепом, и городские думы и войсковые и отдельские штабы по прежнему функционируют... В кабинете сидит станичный атаман Тихон Никитич Фокин и диктует, притулившемуся к углу его большого стола станичному писарю, расписание несения караульной службы в крепости резервными казаками. Ох, какую головную боль вызывает это занятие у атамана. Ослабла дисциплина хуже некуда, и что самое страшное этот разброд принесли с собой казаки, демобилизованные из боевых полков, то есть не зелёные первоочередники, а уже заматеревшие, прошедшие огни и воды вояки. Казалось, наоборот, должны быть закалены и блюсти службу и дисциплину, ан нет, словно подменили лихих рубак, рассуждать научились, обсуждать приказы начальства. Вот и сейчас, вроде уж некоторые отдохнули, по месяцу и более, как домой вернулись, пора уж и в станичную службу впрягаться, раз в месяц сходи в караул. Куда там... орут, аж пена изо рта: пуцай и дальше статейники отдуваются, оне тут баб целых три года щупали, пока мы в окопах гнили и в пинских болотах мошкарку кормили, пули германские грудью принимали, потом киргизей по степу гоняли.

Нет, конечно, второочередников и третьеочередников понять можно, но молодёжь, которая всю войну в 3-м полку в Зайсане да Омске прохлаждалась, и эти откуда только гонору набрались. Недаром его в штабе отдела предупреждали, казаки из полков возвращаются разболтанные, распропогандированные. Это ещё полбеда, разболтавшихся со временем подтянуть можно, стариков, отцов на них настропалить. Страшно другое, непонятно что творится с властью, у кого она? То, что Керенский слабак и долго не протянет сразу было ясно. Но что за гуси эти большевики? Про них всякие противоречивые слухи ходили. В Питере они вроде крепко сели, а вот на местах полная неразбериха. Что творится в Омске, Семипалатинске – совершенно непонятно. В Уст-Каменогорске образовался большевистский ревком и в декабре арестовали атамана 3-го отдела генерала Веденина, непосредственного начальника Тихона Никитича. Потом уже в январе его отбили тамошние казаки и офицеры, разоружив красногвардейцев, конвоирующих генерала в Семипалатинск. В самом областном центре тоже не поймёшь, какая власть. Но если верить путаным телеграммам, вроде бы городское земское

собрание, с помощью опять же казачьих дружин, пресекло все попытки тамошних большевиков взять в городе всю власть. Потому, чего ожидать в ближайшем будущем совершенно неясно, а раз так, то и флаг на крыльце правления пока лучше никакой не вывешивать.

Статейники, видя, что фронтовики отлынивают от внутриведомственной службы, тоже зароптали. Ох, много нервов стоило Тихону Никитичу в последнее время исполнение его должностных обязанностей, за все десять лет, что он атаманствовал, не было так тяжело. А тут ещё на служебные заботы наложились и семейные. Сын Владимир, кадет 5-го класса омского кадетского корпуса, когда в августе прошлого года уезжал после летних каникул, никто и помыслить не мог, что в стране за столь короткое время случится столько событий, после которых отец стал не на шутку беспокоиться за его судьбу. С Омском связи фактически нет, по слухам там идёт борьба между совдепом и войсковым правительством. Очень боялся Тихон Никитич, что погонит какая-нибудь дурная голова мальчишек на убой, или они сами полезут куда-нибудь на рожон. Потому, он чуть не каждую неделю писал письма своему бывшему полчанину штабс-капитану Боярову, офицеру– воспитателю Владимира, заклинал, просил, чтобы сберег сына. Слава Богу, дочь Полина здесь, дома.

Впрочем, с некоторых пор пристрастившийся к собиранию книг и чтению художественной литературы Тихон Никитич, не раз сам себе цитировал Грибоедова: что за комиссия создатель, быть взрослой дочери отцом. И за дочь тоже голова болит, хотя вроде бы всё у неё в порядке, закончила в прошлом году гимназию, да ещё и педагогический класс при ней, сейчас полноправная учительница в высшем станичном начальном училище. Вон она, кажется, её платье мелькает в больших школьных окнах. И с ней тоже немало нервов пришлось истрепать Тихону Никитичу. Чуть не всё станичное общество, особенно старики и старухи осуждало Полину, когда она, ещё будучи гимназисткой, приезжала на каникулы из Семипалатинска, и вела себя не как положено скромной девице. Нет, никаких моральных норм Поля не нарушала, но вот любила одеваться, да так!... Из Семипалатинска таких платьев навезёт, да нарядится, что вся станица потом с полгода судачит про ту срамоту. Или перешьёт его старые с лампасами шаровары под себя, вскочит на коня и носится по станице и окрестностям сломя голову. Не раз потом жалел Тихон Никитич, что подарил дочери жеребца-трёхлетка. Он то думал, что она чинно, как барышня будет ездить в дамском седле, боком, в длинной юбке, а она в перешитых шароварах, в казачьем седле, верхом. Или, опять же из Семипалатинска привезла лыжный костюм и зимой придумала на лыжах кататься там, где все на санках катаются, прямо с крепостного вала вниз по береговой круче на лед Бухтармы. Ну, где ж это видано, чтобы девица, как постреленок какой себя вела, да еще костюм этот почти облегающий ее. Конечно, тут мать слабинку дала, хорошая его Домнушка и хозяйка, и жена, но не хватает ей твёрдости характера дочь в строгости держать. Ну, а он, что он, он бы конечно мог цыкнуть, или даже ногой стегануть, но отцовская любовь, проклятушая, не позволяла ни того, ни другого. А она, хитрющая девка, знает эту слабость отца и пользуется.

Но вот, кажется, в последнее время, став учительницей, дочь несколько остепенилась, появилась у неё своя служба, заботы, и одевается вроде скромнее и не так ярко. Наконец, поняла, что когда идёт война, предаваться веселью не по совести, да и сама уже который год ждала своего неофициального жениха, потому и ей не до нарядов и скачек стало. И вот, в январе дождалась, вернулся её суженый, сотник 9-го полка Иван Решетников. Помотало Ивана, сначала на Северо-Западном фронте воевал, потом полк сняли с фронта и перебросили в Семиречье подавлять бунт киргиз-кайсацев, оттуда отправили в Персию... Но, слава Богу, в этом году, вскоре после святок, исхудавший, почерневший от южного солнца, но живой и здоровый Иван вернулся в станицу. Это означало, что уже в этом году можно и свадьбу справить. Вот,

только бы никакой заварухи за это время не случилось, чтобы и сын спокойно учёбу продолжил, и дочь благополучно замуж вышла...

2

Старший урядник Игнатий Решетников давно уже вышел из служивого возраста, а оба его сына, старший, второочередник Степан, и молодой офицер Иван, как и положено, с началом войны были зачислены в полки. Игнатий Захарович надеялся, что его младший Иван, в 14-м году выпущенный из Оренбургского юнкерского училища хорунжий, попадёт в 6-й льготный второочередной полк и братья смогут друг-другу подсобить. Иван сделает брату какую поблажку, а если в разные сотни попадут перед его командиром слово замолвит – офицеру с офицером легче договорится, ну а Степан, как старший по возрасту, поможет младшему брату найти общий язык со своими ровесниками. Но не суждено было сбыться надеждам отца, да и матери. Ивана определили аж в 9-й, третьеочередной полк и у него, почти мальчишки, в подчинении оказались дядьки, казаки старше его на десять-двенадцать лет. Как с ними управлялся Иван? Про то сын ни в письмах не писал, и, как пришёл месяц назад домой, говорил неохотно. Но то, что за три с половиной года из зелёного хорунжего он стал боевым сотником, заслужил офицерского «Георгия», не говоря уж об обязательных в военное время едва ли не для каждого офицера русской императорской армии орденов Святой Анны и Святого Станислава... Все это говорило само за себя.

Но младший сын пришёл домой только в январе, а вот осенью пришлось Игнатию Захаровичу использовать его имя, так сказать, заочно. Осенью Игнатий Захарович сумел одним из немногих в станице засеять озимыми свой обычный юртовый клин, хоть с прошлого не очень богатого урожая имел недостаточно семенного зерна. Ходил на поклон к атаману. Впрочем, какой там поклон, атаман считай без пяти минут родня Игнатию, только бы Иван пришёл живым. В общем, семенами ссудил его будущий родственник в охотку, да ещё предложил рабочую лошадь из своего табуна. Но Игнатий, вежливо поблагодарив, от лошади отказался, своя и плуг и сеялку таскает – не дай Бог одностаничники раньше времени завидовать начнут, ещё сглазят. Зато семян атаман дал с избытком. Таким образом, за будущий урожай озимых и весенний сев Игнатий был спокоен, а теперь и за Ивана тоже. Зато всё больше беспокоило отсутствие известий от старшего Степана. Уже пять месяцев от него не было писем. Да и последнее пришло из госпиталя, куда Степан попал после осколочного ранения в грудь. Если бы не это злополучное ранение, то и он бы уже вернулся, как и весь его 6-й полк, который ещё в сентябре прошлого года был возвращён в войско и до октября стоял в Семипалатинске, а после Октября и вовсе распущен по домам. Степан же так и остался в прифронтовой полосе. Правда, в том последнем письме он писал, что уже идёт на поправку, а потом, как началась эта чехарда с властью, всё как отрезало, почта стала работать совсем плохо и, по всей видимости, письма просто не доходили...

Сыновьями Игнатий Захарович гордился, и собой тоже. Ведь в том, что старший выслужился в вахмистры, а младший так и вообще постиг все кадетские и юнкерские науки, стал офицером, несомненна и его заслуга. Особенно велика роль отца в успешной карьере младшего, Ивана. Когда в 1905 году от станицы отбирали двух кандидатов для поступления в Омский кадетский корпус, претендентов набиралось несколько человек. Но на одно место такой был известен заранее, Васька Арапов, сын тогдашнего станичного атамана Василия Федоровича Арапова. Хоть в начальных классах станичного училища Васька по успеваемости не блистал и по поведению ухорез был ещё тот, но у его отца по должности имелись так называе-

мые «офицерские» права, позволявшие устроить сына учиться за казенный счет в самое привилегированно среднее учебное заведение всей Сибири. Увы, у Игнатия Решетникова таких прав не было, потому на казенный кошт рассчитывать не приходилось. Устроить сына учиться за свой счет, то есть своекоштным – Игнатий не богат и оплачивать учебу сына никак бы не смог. Оставалось надеяться на войсковую стипендию. Но их выделяли крайне мало, всего по несколько на каждый Отдел. Однако здесь у Игнатия уже имелись некоторые шансы добиться ее для сына. Дело в том, что Игнатий являлся георгиевским кавалером.

«Георгия» Игнатий Захарович заслужил в 88-м году, будучи на срочной службе, когда в составе 3-го полка Сибирского казачьего войска нес службу в опорном посту на границе с Китаем в районе Тарбагатайского хребта. В тот раз большая часть казаков во главе с сотником покинула пост, чтобы перекрыть границу возле перевала, где ожидался проход крупного каравана контрабандистов, охраняемых хунхузами. Сведения оказались дезинформацией, контрабандисты пошли не через перевал, а прямо на пост, где оставалось всего два десятка казаков во главе с вахмистром. Контрабандистов и хунхузов насчитывалось больше сотни, и они пошли на прорыв. В самом начале штурма вахмистр получил тяжелое ранение, и командовать пришлось ему, тогда двадцатичетырехлетнему уряднику Игнату Решетникову. Больше суток, потеряв более половины людей, сдерживали атаки казаки, но так и не пропустили хунхузов и «барантачей» через границу. Подоспевшие основные силы захватили весь караван. За тот славный бой и представили Игнатия Захаровича к «Георгию».

В те годы для станицы, да и для всего третьего отдела то была редкость. Ведь в отличие от казаков 1-го и 2-го отделов, которые участвовали в походах на Коканд, Бухару, воевали в Семиречье и имели куда больше возможностей отличиться и получать такие высшие воинские награды как георгиевские кресты, третьоотдельцам, на своей границы, конечно же, по настоящему воевать приходилось куда реже. И вот одним из таких редких героев и стал Игнатий Решетников. Это уже после, на японской и тем более на германской войне «кавалеров» стало пруд пруди, а тогда... К сожалению «Егория» имел он одного, то есть полным кавалером не являлся, а то бы согласно «положения» тоже имел бы право учить сына за казенный счет. Но и это обстоятельство он решил использовать, что бы добиться войсковой стипендию. Игнатий бросил все дела, хозяйство, и тогдашнего станичного атамана Арапова «поил» и «подмазывал», и в мундире со всеми регалиями ездил в Уст-Каменогорск на приём к атаману отдела с подарками. Но тем не ограничилось, и там тоже денег дать пришлось. В общем, ублажал начальство всячески и преуспел-таки, взяли его Ваньку в кадеты, на войсковую стипендию. Иван оправдал и немалые расходы, и надежды отца: из рядовой казачьей семьи вышел в офицеры, и вот он уже сотник и тоже георгиевский кавалер.

Степан, конечно, обижался на отца, что тот столько сделал для младшего брата, его, так сказать, оставил в «навозе». Но отец видел, что туго дается старшему сыну учеба, и его «пихать» не стоит. Но и старший, еще на срочной став младшим урядником, уже на фронте выслужил два солдатских «Георгия» и тоже превзошёл чином отца – вахмистр это не пустяк. Хотя сейчас, конечно, это не главное. Бог с ними с чинами, лишь бы жив был. Вон, почти все его полчане уже дома, а он словно провалился. И где его искать, куда писать, когда по всей стране такой тарарам идёт.

Ну, а с младшим всё яснее ясного, у него все дороги открыты, хочешь делать карьеру офицерскую, делай, такой никак не меньше полковника выслужит. Но Игнатий Захарович лелеял надежду, что сын всё же в армии не останется, осядет в станице. Во-первых родителям заступник и помощник, во вторых с его заслугами, чином и образованием прямая дорога в станич-

ные атаманы, а станичный атаман в своем «царстве» значит куда более, чем тот же полковник где-нибудь в городе. И этот второй путь куда надёжнее и вернее первого, ведь Иван целится взять в жёны не кого-нибудь, а дочь самого нынешнего станичного атамана, который в свое время тоже предпочёл военной карьере станичное атаманство, и не прогадал, ох не прогадал Тихон Никитич.

Ваня с Полиной немного знали друг друга с детства, потом как-то на пароходе встретились кадет и гимназистка, ехавшие домой на каникулы. Кадет, двумя годами старше, покровительственно опекал гимназистку, хвастал, что Омск, в котором он учился по всем статьям превосходит Семипалатинск, где училась она... Своевольная атаманская дочь, хоть и было ей тогда всего двенадцать лет, не стерпела, прилюдно вцепилась кадету в короткие, едва отросшие после регулярных стрижек вихры... С этого далеко не любовного эпизода начались их отношения, продолжающиеся уже восьмой год. Игнатий Захарович по слухам знал, что атаман перед войной не очень одобрял то, что его дочь благоволит Ивану. Тот хоть и вышел в офицеры, но ей не ровня...

Тихон Никитич Фокин был природным казаком, но после срочной службы не вернулся в станицу, а остался на сверхсрочную. За усердие и исполнительность его, и награждали не раз, и произвели в хорунжие, а потом вообще «изъяли» с пограничного 3-го полка и откомандировали в Омск, где формировались войска для боевых действий за границами империи. В 1900 году он уже со 2-м сибирским казачьим полком участвовал в Китайском походе, и хоть в боевых действиях тогда полку участвовать не пришлось, себя проявил, за что и был пожалован в хорунжие, то есть стал офицером. В японскую войну уже пришлось воевать по настоящему, и там хорунжий Фокин был награждён георгиевским оружием, произведен в сотника, получил осколочное ранение и серьёзную контузию. Трудно сказать, как бы сложилась служба Тихона Никитича останься он в строю, ведь в 1905 году ему стукнуло уже тридцать пять лет – для сотника многовато. К тому же у него не имелось за плечами, ни кадетского, ни юнкерского образования, а главное, в мирное время для продвижения нужны совсем другие качества, нежели в военное. Здесь личная храбрость и умение управлять подразделением в боевой обстановке «не работают», здесь нужны связи и умение нравиться начальству. Потому, скорее всего, Тихон Никитич большой военной карьеры никак бы не сделал. Видимо, по этой причине, с учётом пошатнувшегося после ранений здоровья, сотник Фокин вышел в отставку и вернулся в родную станицу. Здесь он рьяно, так же как и служил, занялся семейными и хозяйственными делами. Родители его к тому времени уже совсем старыми стали, и, что называется, смотрели в землю. Ну, а Тихона Никитича через два года, как казака авторитетного, к тому же имеющего оберофицерский чин, единогласно на сходе избрали станичным атаманом. На этом посту он сменил вороватого пьяницу Арапова. Ко всему, уже тогда Тихон Никитич стал одним из самых богатых казаков в станице. Это тогда в 1907, а сейчас...

Богат, очень богат Тихон Никитич. Атаманский дом самый большой и нарядный в станице. Строил его Тихон Никитич рядом со старым отцовским, аж два года, с десятого по двенадцатый. Хоть отец и умер незадолго до начала строительства, а мать еще раньше, но всё равно в старом доме стало уже тесно. Сейчас старый дом переоборудован для пребывания там постоянной прислуги и сезонных батраков. А как же, там-то всего две небольшие комнатухи да сени. Разве можно было в таком доме жить с женой, которая хоть тоже не благородных кровей, дочь полчанина отца из посёлка Большенарымского, но успела с мужем пожить в гарнизонах, пообщаться с настоящими дамами-дворянками. Несмотря на то, что по возвращению в станицу приходилось ей и печь топить, и грядки полоть, и корову доить, была она уже далеко не рядовая казачка, о комфорте и удобстве жизни имела вполне определённые понятия. И

дочь подросла, в гимназию отдали – ей отдельная комната нужна, и в туалет ходить на скотный двор, как это было заведено во многих казачьих семьях, бывшей офицерской, а впоследствии атаманской семье негоже.

Так вот и появился этот дом-красавец, обитый тёсом, с высоким крыльцом, с прихожей, гостиной, спальней, отдельной комнатой дочери, кабинетом, туалетом, которым можно было пользоваться, не выходя из дома. Имелся, правда, и на улице туалет, но это для прислуги и батраков. Отдельно от дома, такая же новая бревенчатая баня, ещё дальше скотный двор, построенный ещё отцом, но уже Тихон Никитич его «перебрал» и расширил. Над железной крышей дома красуется жестяной петух, который вместе с оконными наличниками красились раз в два года, и оттого всё время казались новыми. Забор тоже красился, высокий из остроконечных вплотную подогнанных друг к другу тесаных бревен. Такой забор Тихон Никитич «подсмотрел» у кержаков, где все внутренние постройки как бы окружались крепостным частоколом. Здесь же забор окружал обширный внутренний двор и все жилые и хозяйственные постройки.

Да, недаром уже одиннадцатый год носит атаманскую булаву-насеку Тихон Никитич. За эти годы он, используя хозяйскую сметку и, конечно, своё служебное положение, умело эксплуатировал положенные ему по статусу двести «офицерских» десятин пашни и лугов, с которых и хлеба собирал и всевозможного скота выпасал-откармливал, да не простого а племенного. Да, денежки у него водились и немалые. На своём подворье держит он четверых постоянных работников, прислугу, как по-городскому любит говорить его супруга Домна Терентьевна. Еще семеро постоянно при его скотине на заимках – пасут, ухаживают, и до трех-четырёх десятков батраков нанимает атаман в сезон на сев, уборку и прополку. На другом, левом берегу Иртыша у атамана имеется заимка и кошара, в которой нанятые им же киргиз-кайсацы пасут его баранов, почти три сотни голов, и лошадиный табун в полсотни кровных лошадей. Пожалуй, даже два табуна, так как жеребых кобыл обязательно изолировали от основного табуна, и они паслись отдельно, чтобы не выкинули жеребенка. А на этом берегу у него тоже есть заимка, в горах на ему же принадлежащих лугах. Туда он весной и летом выгонял на выпас своих коров с телятами, которых насчитывалось больше двух десятков.

И в земледелии Тихон Никитич преуспел, ибо широко использовал всевозможные самые современные сельхозмашины: сеялки, жнейки, молотилки. Одним из первых в крае он стал высевать клевер, и с него скотина имела такие привесы... Дружбу водит Тихон Никитич с семипалатинским купцом 1-й гильдии Ипполитом Кузмичем Хардиным, торгующим зерном и шерстью, владельцем двух буксирных пароходов и нескольких барж, двух магазинов и множества складов в Семипалатинске. В общем, не стань Иван сначала кадетом, а потом офицером... По всему и Тихон Никитич изначально не такого жениха хотел для дочери. Какой казак, даже выбившийся в обер-офицеры, не желает, чтобы его дети ещё поднялись по сословной лестнице, а высшим сословием в Российской Империи испокон считалось потомственное дворянство.

Начавшаяся война и последовавшие затем события 17-го года поколебали и поколебали серьезно взгляды Тихона Никитича на будущее дочери. Во всяком случае, где то с тех пор, как пришлось известить об отречении царя, он стал подчёркнуто дружелюбен с Игнатием Захаровичем, интересовался его и супруги здоровьем, и особенно известиями, приходившими от Ивана, как служит, что пишет. В общем, атаман всячески давал понять, что уже не прочь и породниться. Игнатий это дело смекнул, и осенью поспешил воспользоваться, попросил ссудить семян... А сейчас что, сейчас дело на всех парах к свадьбе движется. Вот только немного боязно такую невестку в дом брать. Таких Игнатий и его Лукерья только иногда на ярмарках

видели, да в книжках на картинке – барышня барышней, не поверишь, что казачья дочь. По виду прямо дворянка записная, платья носит с бантами, шляпки с перьями, на день по два раза переодевается. Простые сапоги ни за что не оденет, только ботинки хромовые на пуговках, на каблуке. А если в непогоду, то у ей и галоши под такие ботинки имеются, прямо так и сделаны с каблуком чтобы одевать. Никто в станице так не одевается, девки завидуют ей просто жуть, а девчонки малые, ее ученицы, чуть не молятся на нее. И то, что грамотная, жалованье казённое в училище станичном получает, это тоже хорошо. Плохо же то, что к грязной работе совсем не приучена. У атамана в доме всеми делами две бабы-прислужницы занимаются. Так что Полине там и делать-то ничего не приходилось, да и не только ей. Мать её тоже уж лет восемь только командует, по-барски ручкой указывает, сделать то, да сделать это. После такой-то жизни, как ей в снохах у Решетниковых понравится? Как бы не взбрыкнула с непривычки невестушка, в неге выращенная, да сладко кормленная, здесь ведь ни батраков, ни прислужниц, как у папаши, её нету. Согласится ли дом-то мести, полы мыть, стирать и под корову лазить?

Ну да ладно, это опосля. Сейчас главное до весны дожить, отсеяться, летом сена накопить запастись, потом урожай убрать, а осенью, с Богом и свадьбу сыграть. Сейчас-то, поди, атаман будущему свояку и зерно поможет продать с выгодой, а цены на хлеб в этот год, по всему хорошо подскочат. В Центральной Рассее, говорят, почтишто и сеять никто не будет, всё помещичью землю делят, не поделят, не до того им там, и озимые во многих местах не посеяли. Так всё складывается, что вроде бы радоваться надо, а всё одно боязно. Непонятно, как эта чехарда с властью кончится, когда она вновь как при царе понятной и твёрдой станет. Лучше всего, конечно, чтобы опять царь встал, привычно как-то, вона отцы и деды при царях жили и ничего вроде. Хоть и не богат Игнатий Захарович, но он казак, а казаки не последними людьми при царе считались, с мужиками, мастеровщиной и киргизами не сравнить. А чёрт его знает, как при другой-то власти будет, как бы в самый низ не определили...

3

Над Россией атмосфера неопределённости, неуверенности, предчувствия чего-то неотвратимо ужасного. Не успела кончиться одна война, а тут уж грядёт другая. То там, то там вспыхивают беспорядки, третья за год власть не казалась прочной и долговременной, тем более она не имеет ничего общего с предыдущими и видится такой неестественной. Разве могут те, кто ещё вчера был никем, дети и внуки тех, кто был никем, низшим, презираемым сословием, вдруг стать всем? Страну, как слепящий промозглый дурман, всё более охватывала анархия, такая желанная для особей рискованных, лихих, бесшабашных, и такая ужасная, губительная для тихих, смиренных обывателей. Но в это предчувствие так тяжело поверить, даже будучи в здравом уме, а уж находящимся в состоянии любовной эйфории тем более, ведь для влюблённых весь мир, что там не творись, кажется прекраснейшим из миров.

Верстах в шести на север от Усть-Бухтармы долина-кофейник заканчивалась. Горы словно сговорившись «пошли» навстречу друг-другу, и Иртыш тёк уже не по равнине, а прорезал горы, сужавшие его пойму почти до самых берегов. Середина февраля, горные склоны заснежены, лишь местами зеленеют хвоей сосновые перелески. По распадкам то вверх, то вниз петляет хорошо накатанная полозьями саней дорога, по дороге...

По дороге во весь опор несутся два всадника, причём один заметно отстал в безуспешной попытке настичь второго. Вдруг, перед крутым подъёмом передний всадник осадил коня,

обернулся и со звонким смехом, отзывающимся в горах эхом, стал поджидать отставшего товарища:

– Что, догнал!?

Голос высокий, белая папаха одета не по мужски, а как носят шляпку модницы, из под неё перекинута вперёд на грудь толстая тёмно-русая коса. Отороченный белой шерстью под цвет папахи короткий полушубок узок сверху, топорщится на груди, форменные шерстяные шаровары с алыми лампасами слишком уж плотно облегают, круглятся на широких бёдрах. Сапоги явно сшиты на заказ, подошвы чрезмерно маленькие, почти детского размера, а голенища как будто от других сапог, туго охватывают далеко не тонкие икры... Да-да, это вырядившаяся в казачью форму женщина, вернее девушка с приятными, нарумяненными лёгким морозцем и встречным ветром щёчками.

Наконец, подскакал и второй всадник. Ну, у этого всё как положено: офицерская, но без кокарды, папаха надвинута на глаза и чуть скошена, полушубок длинный, почти до колен и оторочен неброской серой шерстью, он плотно облегал кажущиеся от немалого роста всадника не очень широкими плечи, и по «конусу» сбегает к узким бёдрам, шаровары заправлены в сапоги большого размера. То есть всё строго наоборот, как и положено Божьим промыслом при сотворении мужчины и женщины. И в лицах молодых людей наблюдалась та же естественная противоположность, что делала их обоих по-своему очень привлекательными. Лицо девушки округло-румяное, с мягким переходом от щёк к подбородку, как бы всё озарялось весёлым блеском больших карих глаз, светившихся таким счастьем, какое бывает только у по настоящему «без ума» влюблённой. Лицо молодого казака, напротив, аскетически худо, обветрено, а подбородок твёрд, с хорошо проявленной «волевой» впадинкой посередине. Глаза же выражают определённую озабоченность – по всему он не разделял беззаботного веселья и беспечности своей спутницы.

– Поля, надо ворочаться... больно далёко мы от станицы заехали, – Иван колючим взглядом шарил по окрестным склонам гор, пологими уступами возвышающимися по обе стороны дороги.

– Ну вот, здравствуйте, я вас не узнала! Тут же нет никого, чего ты опасаться? И потом, Ваня, сколько тебе говорила, неужели тебя не учили, разве так можно говорить, ворочаться? Говорить надо возвращаться, – Полина вновь беззаботно рассмеялась, и чуть тронув коня подъехала к Ивану сбоку вплотную.

– После учёбы я, знаешь ли, сначала на Германской больше года, потом за киргизами по Семиречью гонялся, а потом аж до Персии и назад съездить успел. Так, что извиняйте Полина Тихоновна, там мне не до грамоты и манер было. Чуть не всю науку из головы вышибло... грязь, вши да кровь, – с раздражением отреагировал на замечание Иван.

– Ну, ты что... обиделся? Не надо Вань, я ж не со зла, – улыбка Полины приобрела виноватый оттенок.

– Да, не обиделся я. Но ты уж больно весёлая. Куда несёшься-то, я ж не угонюсь за тобой. Твой-то Пострел вона каковский – молодой, да на вольном овсе, а моя кобыла, сама знаешь, уж четвертый год под седлом, да на плохом корму. Всё, что мне там досталось, то и она пережила. Знаешь, сколько ей? Одиннадцатый год уже пошел... Ты же что обещала? Что не далёко поедем. Я вон даже оружия с собой никакого не взял, – укорял Иван невесту, в то же время, продолжая с тревогой обозревать окрестности.

– Ну, не дуйся Вань. Забылась я как-то. Ну, прости... Дай-ка я тебя лучше поцелую, – с этими словами девушка, привстав на стременах, потянулась к Ивану, обняла его и приникла губами в долгом поцелуе.

Строевая кобыла Ивана была куплена отцом у киргизов-конеторговцев сразу после его выпуска из Оренбургского юнкерского училища. Уже тогда не больно молодая, тем более сейчас, после трех нелегких военно-походных лет... Кобыла Ивана недовольно прядала ушами, чувствуя всё увеличивающееся на неё давление по мере того как Полина переносила тело со своего коня, опираясь на Ивана. Ну, а когда девушка, крепко обхватив любимого за шею, вдруг, разом, выпростала обе свои маленькие ступни из стремян и ловко перескочила из своего седла на круп кобылы Ивана, ему за спину... Тут уж заслуженная боевая подруга сотника аж чуть присела на задние ноги и издала возмущённый храп. Зато, оставшись без всадницы, жеребчик радостно заржал, звеня освободившимися от натяжения удилами.

– Ты что делаешь... Поля... с ума сошла... упасть ведь можем! – пытался уже сквозь собственный смех изобразить сердитость Иван, но ощущая прижимающуюся к нему сзади Полину, а потом и опоясавшие его её ноги... Он чувствовал через два полушубка и двое шерстяных шаровар изгибы и жар чуть не всего её тела. – Поля, перестань... упаси Бог, если кто увидит... – приглушённо шептал Иван.

Тем временем кобыла, наконец, обрела более или менее устойчивое положение под двумя всадниками. Иван же, бросив поводья, ласково погладил ноги девушки, затем, вдруг, отведя руки назад одновременно крепко, но не больно шлёпнул её по бёдрам. Этим «манёвром» он освободился от такого приятного для него «пояса» и, мгновенно перенеся свою ногу вперёд через луку седла, прыгнул с бедолаги-лошади. Полина тут же перескочила с крупа в освободившееся седло, при этом её ноги не доставали до стремян, рассчитанных на значительно более рослого всадника.

– Папа никогда не позволяет мне садиться на своего строевого коня... Ну, как я на твоём? – Полина вскинула голову, сдвинула папаху набекрень, выпятила и без того высокую грудь.

Кобыла явно не одобряла, что в седле оказался не её хозяин, и нервно прядала ушами.

– Лихой казачок, только в заду уж больно тушист, и ноги надо сильнее сжимать, а то из седла вылетишь, – Иван взял нервничающую кобылу под уздцы.

Полина в ответ вновь звонко раскатисто рассмеялась, откинувшись на заднюю луку седла.

– Ты что, как смешинку проглотила, – Иван успокаивающе поглаживал по холке кобылу, которая так и не могла привыкнуть к мотающейся в приступах смеха всаднице.

– Проглотила, – девушка, бедово вспыхнув глазами и наклонившись к уху Ивана зашептала, – А я не могу сжимать... когда ты рядом, они у меня сами-собой... слабнут, – и тут же, отпрянув, вновь зашлась смехом.

– Ну, ты... Поль... ну разве ж можно? – смущённо и зачем-то глянув в очередной раз по сторонам, хоть вокруг насколько хватало глаз никого не было, заулыбался Иван. – Вот бы сейчас тебя папаша твой послушал, или благочинный отец Василий. Так бы наверное с амвона и навернулся. Или твои гимназические... как их, классные дамы.

– Вот, уж насчёт наших классных дам ты сильно ошибаешься. Среди них такие попадались, чего только не повидали, и где только не побывали, и актёрки дешёвых театров, и циркачки. А про одну, что нас в 6-м классе вела, легенды ходили, про любовников её... Ладно, сними меня скорее, а то кобыла твоя уж больно ревнует, – Полина вновь обхватила Ивана за

шею и пружинисто прыгнула на снег. – Если хочешь знать, в своём классе я одна из первых скромниц считалась. У нас там такие девы водились, и курили, и кокаин нюхали, а уж на язык... Помнишь Скуридина, миллионщика, судовладельца? Так вот, я вместе с его единственной дочерью училась, и эта наследница несметных капиталов мечтала в каком-нибудь варьете плясать, и за жизнь никак не меньше тысячи любовников иметь.

– А ты о чем мечтала?– Иван крепко держал девушку за локоть и, приблизив лицо к её косе, намеревался потереться своей гладко выбритой щекой о её волосы, вдохнуть их запах.

– Ты же знаешь... Зачем спрашиваешь? ... Ой, щекотно!

Они опять слились в долгом поцелуе. Жеребчик нетерпеливо пританцовывал поодаль, и словно зарядившись наглядным примером людей, заржал и стал забегать за смиренно стоявшую кобылу. Но едва он приблизился к её хвосту, та не проявила встречного чувства, а взбрыкнув, отогнала ухажёра, при этом рванув повод в руке хозяина. Иван был вынужден оторваться от Полины.

– Ну-ка ты! Не балуй... Гляди-ка Поль, твой-то «Пострел» разыгрался, а моя – себя блюдёт, не подпускает.

– Да пусти ты её, пусть на воле побудет... она ж не убежит, – Полина отошла с дороги, зачерпнула пригоршню снега и прижала её к своим «горевшим» щекам.

– Нет Поля... некогда разгуливать, лучше поедем назад. Погода вон портится, к вечеру не иначе пурга разыграется.

Иван не отпуская своего повода, тут же ловко поймал за уздечку не оставлявшего попыток ластиться к его кобыле жеребчика Полины и подал её девушке:

– Держи. Давай сесть подсоблю.

Этой процедуре, когда рядом не было посторонних, оба влюблённых отдавались с особым удовольствием. Иван брал девушку за талию, чтобы посадить, а Полина, вставив одну ногу в стремя, всячески изображала, что её вдруг оставили силы, и она не может перекинуть вторую через седло. Тогда Ивану со смехом приходилось уже «неприлично» брать её значительно ниже талии, поднатуживаться и буквально взваливать на лошадь...

Назад ехали неспешной рысью. По дороге встретили обоз из трёх саней. То были рыбаки из новосельской деревни Селезнёвки, ездившие ставить сети в полынье. Когда всадники проехали мимо, рыбак на задних санях с недобрым весельем подмигнул второму:

– Ишь, жених с невестой жирятся...

– А, что разве там баба была верхом? – удивился второй.

– А ты, что не разглядел что ли? Зенки-то протри. Дочку что ли атаманскую не узнал, учительку из станицы? А с ней ейный жених, сотник. С фронту недавно воротился. Вот оне и гуляют на радостях. Осенью вроде свадьбу играть собрались.

– Казаки им што, оне хозяйва, что хотят то и делают, тем боле которы в атаманы, да в офицера вышли. Вона у их и девка штаны с лампасинами напялила, верхом ездит и никто ей, бесстыжей, слова сказать не смеет, – включился в разговор третий пассажир саней.

– Ничего, и нашенское время не за горами. Вона чего мужики, что с фронту повертались говорят. Там этих офицеров оне как косачей стреляли. Сейчас всё перевернуться должно. В Россее, говорят, уже всех этих знатных да богатых к ногтю. Тама рабочие, голытьба всю власть себе забрали. И в Семипалатном и Уст-Камне совдепы. Скоро и у нас такое будет, всех гадов, живоглотов к ногтю...

4

Степан Решетников пришёл домой в преддверии марта. Приехал, как обычно усть-бухтарминцы ездили зимой из Семипалатинска, кружным путём, через Георгиевку и станицу Кокпектинскую, пересекали калбинский хребет по Чёртовой долине и выезжали напрямик на противоположный берег Иртыша почти напротив станицы. Скованный льдом Иртыш не представлял преграды ни для санных обозов, ни для всадников. Этот путь вдвое длиннее, нежели напрямик через Усть-Каменогорск, но он куда безопаснее, ибо калбинские перевалы много ниже алтайских, а дороги здесь не проложены по серпантинам, с одной стороны которой скала, а с другой пропасть. Ехал Степан с попутным санным обозом. Явился уже под вечер, запорошенный снегом, в старом тулупе, без погон, в вылинявшей солдатской папахе и драных сапогах, один из которых был подвязан тесёмкой. По виду дезертир-оборванец, а не вахмистр доблестного Сибирского казачьего войска. И даже когда Степан снял свой неприглядный тулуп, под ним не оказалось ни гимнастёрки, ни шаровар с лампасами.

– Ты эт, что, сынок... тебя с вахмистров-то разжаловали, или как? – слегка омрачилась радость отца

Степан хотел что-то ответить, но мать, уже утершая слёзы счастья, замахала на Игнатия Захаровича руками:

– Ладно, отец... потом допрос учинять будешь, он же уставший, с дороги, и ранетый был. Садись сынок, отдохни, а я сейчас мигом на стол соберу, мы как раз вечерять собирались... Радость то, слава те Господи... А разговоры говорить потом будете.

Лукерья Никифоровна обычно не перечила мужу, ибо с детства воспитывалась в суровой семейной обстановке, которую в её отчем доме завёл отец, крутой по нраву казак, не раз до полусмерти полосовавший мать Лукерьи ногойкой, за малейшую, по его мнению, провинность, типа невкусно приготовленной еды, или не вовремя открытыми перед его конём воротами. После почти тридцати лет замужества Лукерья несколько отошла от того, вбитого в неё отцом страха, и уже могла иногда вот так и возвысить голос против главы семейства, который злым бывал только на словах и за все эти годы жену ни разу по настоящему не ударил.

Весь следующий день в доме Решетниковых гуляли, праздновали возвращение старшего сына. Пришли соседи, родственники, сам атаман Тихон Никитич наведался, перекрестился на потемневший киот, сел за стол, принял чарку, отведал приготовленной впрок закуски: ухи из хариусов, жирных пельменей, запил ячменным пивом. Поздравил отца, мать с благополучным возвращением и второго сына, ну и, конечно, расспрашивал самого Степана, прибывшего из «Рассеи», о тамошних событиях. Все пили, ели, песни пели... Вот только сам виновник торжества, в отличие от родственников и земляков, радовался своему возвращению как-то через силу, на расспросы отвечал уклончиво, что там творится, и кто остался держать фронт против германца, и что за люди эти большевики, скинувшие в Питере Временное правительство... Лишь поздно вечером, когда гости, наконец, разошлись, отец на радостях явно перебравший самогона с пивом повалился спать, а мать с оставшейся ей помогать соседкой принялась убирать со стола, Степан чуть слышно шепнул брату:

– Пойдём Ваня на воздух, покурим... потолковать надо.

Братья вышли во двор родного дома известный им с детства до мелочей: напротив крыльца забор с воротами, справа амбар с обитой железом дверью, слева к дому примыкает скотный двор, оттуда время от времени негромко мычит корова, хлопают крыльями куры. Впритык к хлеву конюшня, вернее стойла для лошадей, где стоят два коня, тягловый жеребец и строевая кобыла Ивана.

Похожи и не похожи друг на друга братья. Оба одинаково рослые, чуть сутуловатые, и лицами, хоть и не сильно, но схожи. Но разница, пожалуй, бросалась в глаза сильнее на фоне этой общей схожести. Из Степана так и прет простолюдин, о том говорили все его движения, ухватки, манера плевать, сморкаться, лугать семечки, небрежно бриться, не обращать внимание на грязь под ногтями... Иван отличался от брата как обработанная деталь от необработанной заготовки. Даже его походка, легкая, пружинистая говорила о годах беговых и гимнастических тренировок в кадетском корпусе и юнкерском училище, о постоянных занятиях строевой подготовкой на плацу. Она в корне отличалась от тяжелой, приземленной походки Степана. И вообще Иван смотрелся подтянутее, собранней, ловчее. Каждое утро он тщательно умывался, брился, его волосы всегда были расчесаны, усы подстрижены, всевозможные угри и тому подобные вещи моментально прижигались и изводились...

Степан вздохнул полной грудью прозрачный морозный воздух, тряхнул головой, так что едва не свалилась папаха. Достал кисет, насыпал махры на заранее приготовленный небольшой прямоугольный листик, нарезанный из газеты, привычно свернул сигарку, закурил. Иван отклонил протянутую руку брата с кисетом.

– Неужто на фронтах-то так и не выучился курить? – насмешливо спросил брата Степан, и тут же не, дожидаясь ответа, резко сменил направление разговора. – Ты чего весь день молчал как неродной? Вона все пытаются, что да как, расскажи да обскажи, а брат родной как сыч ни полслова. Али брезгуешь? – Степан ревностно переживал офицерство младшего брата.

– А чего при всех спрашивать? Мы ж с тобой за весь день вот только одни и остались. А вчера ты уставший был, как поел, так сразу и спать, с утра гости пошли. При посторонних разве всё как хочешь обскажешь? – ничуть не смутился, лишь слегка отстранился от самогонно-махорочного перегара, исходившего от брата, Иван.

– Верно рассудил, при гостях, конечно, всего что промеж родных никогда не скажешь, – Степан в очередной раз затянулся и тут же с отвращением отбросил сигарку. – Век бы этой махры не пробовал, а куда денешься, хорошего табаку сейчас днём с огнём... Пойдём-ка Ваня, знобит меня что-то, не иначе в дороге застудился. После этого ранения я вообще к холоду чувствительный стал, – Степан передёрнул плечами в накинутах отцовском полушубке и направился в дом.

В сенях, во тьме, чуть подсвеченной лунным светом из небольшого оконца, они сели на лавку. Иван испытывал некую неловкость, как это всегда бывало в последние лет пятнадцать, когда они вот так встречались после долгих разлук. Иван, с десяти лет отданный в кадеты, приезжал домой только на каникулы, и всегда чувствовал ревностное отношение Степана. Как так, ты меньшой брат, а будешь офицер, ваше благородие, тебя ожидает интересная, чистая жизнь, служба в различных местах Империи, возможно в больших городах, столицах. А я остаюсь в казачьем сословии и после четырехлетней действительной службы, выйду на льготу, вернусь в станицу и буду заниматься тем же, чем и отец, пахать, сеять, ходить за скотом. Потом, когда Степан, едва женившись, служил действительную, охранял границу с Китаем, братья вообще несколько лет не виделись. Отпуска рядовым казакам не полагались. Даже жену, умершую в родах, он не смог похоронить, не успел к третьему дню. После кадетского корпуса Иван

поступил в Оренбургское казачье юнкерское училище, Степан же продолжал служить и пришел домой, когда Иван уже заканчивал учёбу и, казалось, братья, наконец, встретятся после многолетней разлуки. Но Иван сдавал выпускные экзамены в июле 14 года, тут началась война. Домой после выпуска в свой укороченный по случаю войны отпуск, он приехал в августе, когда Степана уже мобилизовали во второочередной 6-й полк. Их единственная за все последние семь лет встреча произошла ранней весной того же 14 года, когда Иван приезжал на пасхальные каникулы.

И здесь Иван не мог не увидеть, как завидует ему брат. Чтобы как-то сгладить неловкость, разрушить незримо возникшую меж ними стену, Иван брался за любую самую грязную работу по дому, помогал отцу сено возить, вызывался чистить скотный двор. Степан в ответ лишь посмеивался, качал головой, как бы говоря: эдак в охотку можно поработать, зная, что через неделю уедешь, и всё это забудется, а вот так, зная, что такая работа тебя ждёт всю жизнь, каждый день. Не говоря ничего вслух, Степан более всего завидовал тому, что брат, получив офицерский чин, становится обер-офицером, то есть личным дворянином, а если выслужит чин полковника, тогда станет и потомственным, то есть и дети его будут дворянами. В Российской империи быть дворянином, представителем высшего сословия, значило очень многое, это совсем другие права и свободы, другая жизнь. И даже сейчас, когда эта сословная градация, вроде бы уже ничего и не значила, Степан не мог изжить своей застарелой неприязненной зависти к брату.

– Гляжу, ты из полка с тем же конём пришёл... Неужто сохранить смог кобылу свою? – Степан спрашивал без всякого выражения, чувствовалось, что ответ на этот вопрос его совсем не интересует.

– Сам удивляюсь, тысячи вёрст мы с ней прошли, и в строю, и в эшелонах, и в боях, а ни я, ни она, ни пули, ни картечины не словили. Видать Бог спасал, – с теплотой в голосе, оглянувшись в сторону конюшни, произнёс Иван.

– А вот моего строевика и меня не спас, – зло отреагировал Степан. В 16-м годе под Пинском в атаку шли. Впереди снаряд разорвался, жеребец мой как подкошенный рухнул, а я кубарем через него. Подошёл, хрипит, изо рта пена кровавая, и рана во лбу. Осколок угодил. Пристрелил. Вот так... Потом мне другого коня дали, из под убитого. Неплохой конь был, не неук, быстро я с ним совладал. Но тут уж мне не повезло, шрапнелью в самую грудь угораздило. На излёте видать была, шинель с гимнастёркой наскрозь, а грудь только сверху, до сердца не достало, зато сразу в пяти местах. Но из седла взрывной волной вынесло, да об пень, всю спину разодрал, ещё головой шарахнулся и сразу в беспамятство. Очухался, когда уж в госпиталь везли. В письмах-то я писал, что только в грудь ранен, а как признаться, что на спине живого места нет? Здесь бы мать, или батя кому бы, не подумав, сказали, потом пустобрёхи по станице разнесли бы, что от неприятеля бежал Степан Решетников, вот ему в спину и засадили. А в госпитале я, наверное, с месяц только на боку и брюхе мог лежать... Ну, а у тебя-то как служба сложилась? Слышал, помотало тебя, опосля того как ваш полк с германского фронта сняли, мир-то посмотрел.

Степан спрашивал опять с некоторой долей зависти, дескать, и здесь брату повезло больше чем ему, безвылазно просидевшему всю войну в пинских болотах. Иван понимал настроение брата и отвечал с лёгким раздражением:

– Посмотрел Стёпа... лучше бы и не смотреть такой мир, а там же на германском фронте в нашей бригаде остаться. Тогда уже с сентября прошлого года в Семипалатинске был, а в декабре дома, и всей этой мерзости не видел бы.

– Да ну, это ты, брат, брешь. На германском ить и убить могло запросто, а здесь-то, против киргизей полегшее. Да, и поинтересней поди, чем там комаров кормить, да от артобстрелов хоронится, – не согласился Степан.

– Ничего тут интересного не было. Как летом, в шестнадцатом нас из бригады в эшелон погрузили, так безвылазно до самого Семипалатинска везли в теплушках. А там, даже тех, кто с ближайших станиц домой не отпускали. День передохнуть, да лошадей в порядок привести дали, и скорым маршем на Сергиополь погнали... – Иван махнул рукой и замолчал, явно не желая продолжать рассказ.

– Ну, а дальше то как, зачем вас четыре тысячи вёрст от самого фронту везли, неужто семирёков и наших первоочередников из третьего полка не хватило, чтобы с киргизней справиться, – Степан напротив выказал самый живой интерес к событиям лета-осени 1916 года.

– Я тоже, пока нас везли так думал. А на месте, как увидал, понял, серьёзное там дело, восстали сотни тысяч, за кордон уходили, скот угоняли.

– Ваш полк, я слышал, в южном Семиречье действовал. Это вы у Хан-Тенгри киргизей без счёта порубали? Говорили там весь перевал ими завален, вороны и шакалы до сих пор растаскать не могут, – продолжал расспрашивать Степан.

– Нет не мы. Там все дороги в Китай блокировали, вот они по последней свободной прямо через перевал и пошли. А его заранее артдивизион семирёков пристрелял. Действительно очень много они их там положили. Я сам не видел, а кто в том деле участвовал, говорили на версту с лишком людей, коней и прочего скота вперемешку навалено, и в пропасть много посрывалось. Сколько их там побиили перечесть невозможно, да и не считал никто, – спокойно отвечал Иван.

– Но ведь было за что, оне ж тоже зверствовали?

– Ещё как... сам свидетель, никогда не забуду, – даже в полутьме было видно, как лицо Ивана исказила гримаса крайнего возмущения. – Мы шли вдогонку как раз за той колонной киргизцев, которая уходила на Хан-Тенгри. А там, на берегу Иссык-Куля стоял православный монастырь, чуть в стороне от тракта. Я понимал, что они вряд ли не тронули монастыря, и на всякий случай послал разъезд, узнать, вдруг кто-то из монахов уцелел. Через некоторое время догоняет нас казак из того разъезда, глаза размером по червонцу, говорить толком не может. Кое как поняли его. Монастырь, конечно, сожжён, но не только это. Там, говорит, русские дети, много детей на колья посажены, хоронить надо. Я командиру полка доложил, он мне даёт два взвода, и мы поскакали... – Иван замолчал, словно переводя дух, перед жутким сообщением. – Думал, что увижу казнённых детей новосёлов, захваченных в тамошних деревнях, а поближе подъехали, Господи Иисусе... Там вокруг монастыря изгородь из кольев. Так они её не сожгли, как сам монастырь, а на колья девочек верхами посадили, некоторые насквозь проткнуты были. А по остаткам платьев и белья на тех девочках вижу не крестьянские то дети, гимназистки. Я ж их и в Омске, и в Оренбурге сколько повидал, их с простыми не спутаешь. Потом уж я узнал, что там стоял скаутский лагерь гимназистов из Верного. Мальчишкам они головы поразбивали, глаза повыкалывали, а девчонок исильничали сначала, а потом на колья посадили... – Иван замолчал.

– А, что там с ними взрослых не было никого, увести спрятаться где-нибудь не могли? – недоумевал Степан.

– Были, учитель с женой. Тоже оба убитые. Жена беременная была. У неё живот разрезали, плод достали и сапогами растоптали. Детей мы там более сорока человек насчитали и монахов человек тридцать они живьем сожгли. Целый день мы их хоронили. Я сам нескольких девочек с этих кольев снимал, лет по четырнадцать им было. На фронте вроде сколько крови лилось, а вот такого ни разу видеть не пришлось, – Иван тяжело вздохнул будто после тяжелого усилия.

– Дааа... на фронте смерть оно дело обычное, солдат, казак ли, офицер... оне должны быть к ней завсегда готовы, а вот про то, что ты рассказал... Да брат, понимаю тебя.

Помолчали в тоскливом полумраке. Но потом Степан вновь осторожно подвиг брата к продолжению своего рассказа:

– Ну, а потом-то как, ты про Персию-то Расскажи?

– А и рассказать-то нечего, пески, жара, да малярия. По пути все так ошалели от той жары, что и не заметили, как за границей оказались. Один чёрт, что в Закаспийской области, что в Персии, и пустыня та же, и жара, и люди по-русски не понимают. Там мы и не воевали совсем и никаких турок не видели. Сначала в карантине стояли, полполка болело, а после октября назад до Ашхабада маршем шли. Там в эшелон загрузились и вперёд на расформирование. Правда, в Ташкенте страху натерпелись. Нас на запасные пути загнали, с двух сторон красногвардейцы с пулемётами эшелон обложили. Тут до нас слухи дошли, что они, красные эти, наказного семиреченского атамана, генерала Кияшко, там же в Ташкенте с его семьёй изрубили. Так что они вполне могли и нас порешить. Приказали нам разоружиться и выдать всех офицеров.

– Что, офицеров... это как же так! – не мог скрыть возмущения Степан. – И что, вы же там с оружием, артиллерией, все фронтовики, не могли их шугануть!?

– Как шугануть. Мы же в теплушках по три взвода в каждой, артиллерия отдельно, лошади отдельно, пулемётная команда отдельно, боеприпасы отдельно. Они же весь наш эшелон разделили и на разные пути поставили. И в красной гвардии тоже не нуки собраны, тоже фронтовики из туркестанских стрелковых полков. Да они бы нас в тех теплушках всех бы и положили, из пулемётов их прошили бы, – пояснил ситуацию Иван.

– Ну, и как же ты-то, неужто выдали тебя? – в вопросе звучало и произнесённое: казаки не солдаты из мужиков, они к своим офицерам никогда как к барам, которых ненавидели рядовые, не относились, они к ним в основном товарищами, земляками считали.

– Конечно нет... Ко мне сразу Федот Гладилин подошел из Красноярского посёлка, матери нашей сродственник, помнишь? Так вот он мне свою запасную шинель даёт, говорит, одевай, как рядовой казак пройдёшь. Потом гляжу, и другие казаки моей сотни бегут, мы тебя сотник не выдадим, схоронишься промеж нами. Я им и говорю, братцы у кого шинели запасные, папахи есть, отдайте офицерам. Конечно, если бы они силу чувствовали, они бы шинели те с нас снимали и поняли, кто есть кто. На наше счастье большевики торопились сильно, там у них какая-то перестрелка в городе началась. Потому они нас всех поскорее дальше отправили и под шинели не стали заглядывать. А вот орудия, целый дивизион, винтовки и боеприпасы пришлось оставить, еле лошадей да холодное оружие, что с нами было, сохранили. Так что моя кобыла так со мной и приехала домой...

5

Луну за оконцем сеней заслонили откуда-то набежавшие высокие перистые облака, и разговор братьев продолжался уже в полной темени, что ими совсем не воспринималось как какое-то неудобство – ведь им, несмотря на кровное родство мало знающим друг-друга, не часто приходилось вот так по душам поговорить в их прежней жизни.

– А сам-то ты, как добирался... почему в таком виде приехал, где форму-то потерял? – вроде бы без всякого выражения спросил Иван, но офицерские, начальственные нотки сами собой зазвучали в его голосе.

– Ишь ты, никак осуждаешь, господин сотник. Думаешь, брат твой дезертир, оружие, амуницию бросил и навродь зайца через всю Россию бёг, – даже не видя лица, чувствовалось, что Степан недоброжелательно буравит брата взглядом.

– Я тебя не осуждаю. Просто я перед тобой не таился, и ты не таись. Оба мы не героями, не победителями, как хотели с войны воротились, а не поймёшь кем. Понимаю, раз так пришёл, то по-другому не мог, – мгновенно нашёлся Иван.

– То-то и оно, что не мог. Обидно мне, что все так подумали, и отец, и другие казаки. Хотя, тут все не при параде повертались. А я ведь один домой, не с полком добирался, разве ж в форме, с крестами сейчас доедешь? Я ж с госпиталя ехал сначала, а там не поймёшь кака власть. И всё одно у меня и мундир и награды, всё в сохранности было. И сейчас всё припрятано, на сохранении у надёжных людей под Омском. А домой я, брат, специально таким приехал, задание на мне, понимаешь, приказ исполняю, – понизил голос Степан.

– Задание, приказ... чей? – удивился Иван.

Дверь из горницы отворилась, в сени проник слабый свет, прикрученной керосиновой лампы и вышла соседка, что помогала Лукерье Никифоровне.

– Ой, Господи! Кто это здесь, – женщина со свету, не могла различить сидящих на лавке в углу братьев.

– Не пугайся, тётъ Стешь, это мы тут воздухом дышим, – отозвался Иван.

– Ой, ребята, прям напугали... – Лушь, ну я пошла... тут это, робята твои сидят.

Вслед за соседкой в сени выглянула мать:

– Стёпушка, Ваня... что вы тут маетесь, устали небось. Отец вона уж десятый сон видит, храпит и заботы нет ему. Ложитесь, поздно уже.

– Сейчас мамань, мы недолго. Сколь с братом не говорили. Ты само-то ложись, мы скоро, – в голосе Степана слышалась сыновья заботливость.

Мать закрыла дверь, и Степан заговорил жалостно, словно у него к горлу подступили слёзы:

– Три года мать не видел, а постарела на все десять лет. Отец, вон, как и не жил, всё такой же, кочетом скачет.

– Мать она всегда сильнее переживает. Ты Прасковью Неделину помнишь? Сейчас встретишь, не узнаешь. Двух сыновей почти сразу убило, старуха старухой стала в сорок с небольшим лет, высохла вся, кожа да кости, а ведь до войны по дородству в станице даже атаманше, Домне Терентьевне не уступала. Вот и наша мама всё это время похоронки ждала, каждый день молилась, в церкви свечки ставила за нас, – резонно рассудил Иван.

– Да, я это всё понимаю, это так. Но на неё посмотреть, будто на нас тоже похоронки пришли. Тяжко ей одной в доме управляться, не по годам, помощница нужна. Я-то уж в скорое время вряд ли женюсь, а вот у тебя вроде всё наладилось, всё ж таки сумел ты Полину заарканить, сосватать. Так, что ли?

– Так, – Иван голосом выказал недовольство тем, как говорит о Полине брат.

– Ну что ж, дело хорошее, с самим Фокиным Тихоном Никитичем породнимся. Только ты бы невесту свою предупредил, что у нас в доме на матери нашей так же, как она в своём доме на прислуге ездит, у ей не выйдет. Ежели ты смолчишь, отец смолчит, то я молчать не буду. Невестка должна на себе всё хозяйство везти. А то ведь оне барышни, ты их благородием заделалси, а мать она опять на вас...

– Это не твоё дело! – резко перебил Иван брата. – Как-нибудь без твоих советов разберёмся, как нам жить!

Казалось ещё немного и Иван привычно рывкнет: Молчааать!!! Но он замолчал, вынул из кармана носовой платок, и, сняв папаху, вытер вдруг покрывшийся испариной лоб. Молчал и Степан. В сенях повисло напряжённое молчание.

– Ладно Стёп, поздно уже, спать пора... Но раз ты уж заикнулся про какое-то задание, так Расскажи до конца, – примиренчески попросил Иван.

Степан заговорил не сразу. Он некоторое время недовольно сопел, потом вновь скрутил сигарку, закурил:

– Я уж говорил, что из госпиталя выписался уже после этих событий в Питере, когда Керенского скинули. А полк-то мой еще в сентябре с фронту сняли и в войско отправили. Ну, я тоже следом на вокзал. Куда там, поезда не ходят, кругом митинги, стрельба, на станциях солдат тьма, нет не второго, ни третьего классу, все в вповалку спят, ждут когда поезд будет попутный. А эшелоны, которые с фронту идут, тоже битком, все по домам разбегаются, и власти никакой, даже начальник станции не то спрятался куда, не то прибили его. Ну, я, значит, высматриваю какую-нибудь казачью часть, нашу сибирскую, чтобы к ним присоединиться да до дома добраться, или до полка, если он ещё не распущен. Так и не дождался, кое как на перекладных до Пензы доехал. А там на путях какая-то заваруха, вот-вот бой начнётся. Рабочие с винтовками, навродь как вас в Ташкенте, несколько теплушек окружили и приказывают кому-то там сдать. А в теплушках-то, гляжу, наши казаки-сибирцы, а их, значит, разоружать пытаются. А те оружие не сдают, в переговоры вступили. Вижу, время тянут. Тут к тем красногвардейцам подмога, ещё какие-то ухорезы на пролётках приехали. Сейчас, говорят, огонь откроем. Но казаки не испугались, из теплушек высыпали, за рельсы залегли, винтовки выставили, круговую оборону заняли, и пулемёт с патронными ящиками развернули. И слышу голос от них, если нас через полчаса не отправят, мы вас атакуем и захватим паровоз силой. Струхнули эти ухорезы, видать тыловые какие-то были, кровушку-то лить непривычные, отступились. А я, вижу такое дело, к тем казачкам и подбёг. Говорю, так и так, вахмистр Решетников, 6-го полка сибирского казачьего войска, возвращаюсь после госпиталя. А вы кто будете? Оне мне: отдельный казачий партизанский отряд есаула Анненкова, следуем в Омск. Ну, я, позвольте земляки к вам пристать. Вот так и поехали. Про Анненкова слышал?

– Конечно, слышал, он в тылу у немцев с сотней казаков партизанил. О храбрости его невероятной ещё на германском фронте наслышан был, только не знал, верить тому или нет, кажется слишком те слухи приукрашены, – выказал недоверие Иван.

– Ничего не приукрашено. Борис Владимирович он хоть и дворянского роду, а в храбрости и лихости лучшим казакам не уступит, ни в джигитовке, ни в чём другом, – убеждённо говорил Степан.

– Так ты, значит, с ними до самого Омска следовал? – Иван не хотел заострять внимание на личных качествах Анненкова, имя которого на Западном фронте было овеяно геройскими слухами похожими на легенды.

– Да, до самого Омска. В том отряде наших третьеотдельцев не было, все казаки с первого и второго отделов из станиц и посёлков, что по Горькой линии. Пока ехал и с самим Анненковым познакомился, и услышал, как казаки про него говорят. Вот это командир, так командир, все бы такие были, никакие большевики или эсеры нашу армию бы не развалили, и немцев давно бы в хвост и гриву до Берлина гнали, – в голосе Степана слышалось искреннее восхищение лихим есаулом. – Он с простыми казаками как брат, и ест с ими, и спит тут же...

– Это, в какое время вы возвращались? – решил уточнить сроки Иван.

– В начале января в Омске уже были.

– Как в январе... А где ж ты тогда целых два месяца обретался, неужто от Омска так долго ехал? Ты же, получается, раньше меня дома уж должен быть, а только приехал, – недоумевал Иван.

– Так уж получилось... После того беспорядка, что я везде увидел, пока с анненковцами ехал, ну как в сказку какую попал, все друг дружку уважают, все знают что делать, и всё по серьезному, без смеха, без баловства. Так всё по уму там заведено было. А когда мы в Омск прибыли, сам Анненков ко мне подошёл. Понимаешь, не вызвал, а сам подошёл и говорит: «Ты Степан, гляжу, казак справный. Не хочешь ко мне в отряд? Мы тут собираемся выступить на стороне войскового правительства, большевиков от власти отстранить, пока они всю Россию совсем не развалили и по миру не пустили». А я, поверишь, и сам уже хотел проситься. Конечно, говорю, премного благодарен, оправдаю доверие. Вот так и осталси у него.

– Понянятно, – раздумчиво протянул Иван. – Так ты в курсе чего в Омске то делается, раз столько времени там пробыл. А чего ж молчал, за весь день ничего так и не сказал?

– Да про то, что там творится в двух словах между чарками не обскажешь, да и не всё посторонним говорить можно. Там такой сыр с маслом в перемешку, что не разберёшься и словами без сноровки не объяснишь. Как только в Омск-то мы прибыли, в полном порядке с оружием, лошадьми, даже мне и винтовку дали, и коня подобрали. Я ж ведь с госпиталя-то совсем безоружный вышел. Ну вот, есаул наш сразу в войсковой штаб явился, и весь свой отряд в распоряжение войскового правительства представил...

– Так там, что войсковое правительство у власти или нет? – перебил Иван

– Да подожди ты, то ж сразу опосля Рождества было. Тогда там ещё две власти было, войсковое правительство и новая власть, Совет казачьих депутатов, Совдеп. Весь январь оне мерялись, кто главнее. Войсковое правительство видя, что казаки, которые с фронтов повертались в основном по домам расходятся и против новой власти воевать не хотят, решило организовать из частей, таких как наш отряд, верные себе войска. Ну а Совдеп, конечно, против такого дела был. Нас, значит, отвели в станицу Захламихинскую, это от Омска недалеко...

– Я знаю, – вновь нетерпеливо перебил Иван, давая понять увлекающемуся второстепенными деталями брату, что он, семь лет отучившийся в Омском кадетском корпусе, отлично знает окрестности Омска.

– Так вот, в той станице нас собралось больше ста казаков и два офицера, сам Анненков и его заместитель сотник Матвеев, – продолжил свой рассказ Степан. – Совдеп про это прознал и постановил, нас всех разоружить и распустить. Войсковое правительство, конечно, воспротивилось, тогда 26-го января оне его совсем скинули, всех арестовали, и наказного атамана, и заместителей, ну а мы как бы вне закона оказались. До нас из Совдепа нарочного прислали с предписанием в трёхдневный срок сдать всё оружие, боеприпасы, иначе нас объявляли врагами трудового казачества. Некоторые дрогнули, стали втихаря домой собираться. Есаул наш не держал никого, так что остались мы с ним самые верные, человек с полсотни. Тут прослышав, что мы оружие не складываем, ещё и добровольцы приходить стали, и не только казаки, но и солдаты, и мещане, и офицеры конечно. Там же, под Захламихинской мы и стали к обороне готовиться, ждать когда совдеп против нас отряд пошлёт и если небольшой то бой дать. Анненков стал атаманом прозываться, и говорит нам, чтобы к нам пошло много людей, надо хотя бы одну победу одержать, прославиться. Большевики отряд так и не прислали, а прославились мы скоро. О событиях 6-го февраля не слыхал?

– Да нет, откуда, – отозвался внимательно слушающий Иван.

– Действительно тут за горами, за долами не видать, что в свете деется, – усмехнулся Степан. – В омский Совдеп из Питера от их главного вожака Ленина приказ пришёл, конфисковать всё церковное имущество. Это значит, всё золото с иконостасов содрать и все церкви отнять. Тут, конечно, православные не стерпели и во главе с архиепископом на крестный ход вышли. Тысяч пятнадцать собралось, хоть и мороз стоял страшный. Большевики испугались

столько народу разгонять, а поступили хитро, ночью арестовали архиепископа, а его келейника, который ему на защиту кинулся, убили. Про это дело сразу узнали и ударили в набат на кафедральном соборе, а потом уж и все церкви в городе зазвонили. А наш атаман уже дожидался момента, когда заваруха зачнётся, нас в готовности держал. Решил он под это дело спасти риклии нашего казачьего войска, что хранились в Войсковом соборе...

Иван опять хотел, было, перебить брата, что и без него отлично знает, где хранились войсковые символы, но на этот раз лишь сдержанно уточнил:

– Этот собор называется Никольским, он рядом с кадетским корпусом, и там хранятся войсковое георгиевское знамя, и знамя Ермака.

– То-то и оно, что уже не хранятся? – с каким-то непонятным восторгом проговорил Степан.

– Ты хочешь сказать, что большевики их изъяли? – настороженно спросил Иван.

– Да нет... ты слушай дальше. От Захламихинской до Омска где-то вёрст шесть, мы этот набат вселенский услышали. Атаман решил, что в городе восстание против красных началось, нас поднял, на коней и по льду Иртыша, прямо до вашего корпуса кадетского и доскакали. Там узнали, что это не восстание, а просто верующие вышли на улицы, и не дают красногвардейцам церкви грабить. Вот тут-то атаман наш и придумал войсковые риклии из собора забрать, пока они большевикам не достались. Основные силы отряда он поставил вокруг собора и сам с нами остался, а сотник Матвеев с тремя казаками пошёл в собор. Там охрана была, тоже казаки. Оне не сразу согласились знамёна отдать. Стоим ждём, а кругом на соседних улицах драка идёт. Это красногвардейцы народ разгоняют. Глядим, на нас отряд солдат прёт с красными лентами на папах. Ну, мы его огнём встретили. Пока перестрелка шла, Матвеев со своими казаками из собора выбегает со знамёнами, погрузил их на сани и рванул к реке. В санях, с развевающимся знаменем так и несся до самой Захламихинской – красота.

– Красота, да не очень, – усмехнулся Иван. – Что ж это, под знаменем Ермака и убегали. Вы-то тоже следом за ними?

– Куда там следом, мы ж в бой ввязались, а кони наши на берегу остались. К красным подкрепление подошло, их всего там до двух рот набралось, а нас всего-то человек полста. Что нам оставалось, отходить отстреливаясь к лошадям, потом в сёдла и через Иртыш, по левому берегу ушли. Вот ты смеёшься, что убегали, а весь город в ту ночь не спал и все видели, как знамя развевалось на наших санях, и все про нас узнали, – голос Степана выдавал гордость за содеянное.

– Погоди, к реке вы ведь мимо кадетского корпуса отходили. А что кадеты, вы их видели? Они в этих событиях принимали участие, хотя бы старшекласники? – Ивану уже было не до геройства анненковцев, он вспомнил, что всё семейство Фокиных, в том числе и Полина, крайне обеспокоены отсутствием известий от Владимира, ученика 5-го класса кадетского, Его Императорского Величества Александра Первого, корпуса...

6

Как и жизнь, юность у всех случается разная. Во все времена не вся молодёжь имеет возможность пройти полную стадию ученичества. В Российской империи учиться в гимназиях, получить полное среднее образование – такую привилегию имело явное меньшинство молодёжи. Кадетские корпуса, это не что иное, как военные гимназии, и в них своих детей отдать могли далеко не все даже из служивого казачьего сословия. Ведь успешно окончив корпус, кадет имел право без экзаменов поступать в юнкерское училище, после которого становился офицером. Потому кадетами преимущественно становились сыновья тех же офицеров, ну и,

конечно, потомственных дворян, купцов, духовенства. В виде исключения и особого поощрения, могли принять и детей казаков из числа, дослужившихся до чинов старших урядников, вахмистров и подхорунжих, или равных с ними армейских и флотских сверхсрочников, унтер-офицеров и боцманов. То была маленькая лазейка для детей из простонародья, чтобы и они имели возможность «выбиться в люди».

Так вот, юность у сына Тихона Никитича Володи была, как и положено ей быть у сына станичного атамана, к тому же отставного сотника – кадетская. Замкнутое военное общество, это особая статья. Кадеты, находясь в постоянном контакте друг с другом, где бы они не были, лежа в койках, стоя в строю, сидя за партами, они с детства даже если и не сдружились, то по крайней мере привыкли друг к другу, ощущали локоть стоящего рядом и входили в юность единым монолитом, к тому же замешанном на общих целях и идеалах. Все они, за редким исключением, хотели стать офицерами, желали служить отечеству. Их и готовили как будущих офицеров, общеобразовательные дисциплины изучались по программе гимназий, но кроме того постигались и дисциплины военные: основы тактики, фортификация, строевая подготовка, гимнастика, плавание, фехтование. С пятого класса их обучали верховой езде, стрельбе из винтовок и артиллерийских орудий. Ну, а в качестве культурного воспитания, кроме обязательных занятий пением и танцами, воспитанников корпуса водили в театры, на концерты, в кинематограф, они играли в духовых оркестрах, домашних спектаклях. В общем, детство и юность у кадетов были интересными и насыщенными.

Но тут... сначала в феврале, а потом в октябре семнадцатого, когда Володя учился уже в пятом классе, всё что играло в их жизни роль непререкаемых, вечных символов: царь, вера, отечество, всё разом рухнуло. После Октябрьских событий в Петрограде, когда в Омске к власти пришел Совдеп, большевики отстранили от должности директора корпуса полковника Зенкевича и фактически его обязанности пытался выполнять назначенный Совдепом политкомиссар, бывший прапорщик Фатеев. Первым делом он объявил о необязательности посещения кадетами церкви, затем издал приказ, предписывающий воспитанникам спороть и сдать погоны... погоны с вензелем «АІ», гордость кадетов. Естественно, в корпусе начались брожения. Комиссар пригрозил в случае неповиновения полностью закрыть учебное заведение. Кадеты погоны сняли, но не сдали, а сложив поротно в три цинковых ящика от патронов, тайно зарыли в корпусном саду.

Офицеры-воспитатели растерялись и не знали, как объяснить своим воспитанникам творящиеся вокруг события, в молодых неокрепших головах кадетов царила полная сумятица. За царя вступиться уже невозможно, он сам безвольно и трусливо оставил трон, но за Родину, за веру омские кадеты готовы были встать все как один. И когда 6 февраля ночью в городе ударил набат, три старших класса и немало младшеклассников повскакивали с коек, похватили заранее приготовленные «цигели», стальные прутья со спинок кадетских коек с привёрнутыми к ним стальными набалдашниками и кинулись в ночь, драться с красногвардейцами, грабящими церкву и арестовывающими священнослужителей.

Володя вместе со своим другом-земляком, усть-каменогорцем Романом Сторожевым в составе своего класса помогал толпе верующих у моста через Омь обороняться от отряда красногвардейцев, пытавшихся ту толпу разогнать. Народ вооружился кто чем, в основном дубинами и топорами. Красные пока опасались открывать огонь и орудовали в основном прикладами. Столкновение было в полном разгаре и не давало перевеса ни одной из сторон, когда от Войскового собора стала отчётливо слышна винтовочно-пулемётная перестрелка. Все кинулись туда. Когда прибежали, в лунном свете открылась колоритная картина: сани на заснежен-

ном льду Иртыша и над ними развевающееся знамя. Кто-то узнал войсковую реликвию, знамя Ермака, но было непонятно, кто его выкрал. К собору тем временем стекалось много красных отрядов и толпы поднятых набатом верующих. Красные не сумели взять ни одного из казаков выкравших знамя – они ускакали через Иртыш. Потому красногвардейцы вновь обратили весь свой гнев на толпу – возобновилась драка.

Гражданская война в Сибири еще не достигла того ожесточения, которое имело место в Петрограде, Москве и некоторых других районах центра и юга России, где кадетов и юнкеров красногвардейцы уничтожали, не смотря на их юный возраст, как и гражданское население, оказывавшее сопротивление новой власти. Видимо, те красногвардейцы, что пытались разогнать толпу у войскового собора в Омске, были местные, ещё не успевшие ожесточиться. Во всяком случае, открыть огонь и даже примкнуть штыки они так и не решились. «Сражение» шло только с применением ударных орудий: прикладов, дубинок, обухов топоров, цигелей. Туго пришлось бы пятнадцати-шестнадцатилетним пятиклассникам-кадетам, если бы не их взаимовыручка. Физически сильно уступая взрослым мужикам-красногвардейцам, они, тем не менее, прикрывая друг друга, кое-как держали свой участок обороны. Красногвардейцы, имея единое командование, стремились найти наиболее «слабое место», чтобы врубиться в малоорганизованную толпу верующих с целью её рассечь, раздробить на части. Таким слабым местом, казалось, должны были стать невысокие кадеты-пятиклассники...

Володя отбивался своим цигелем плечо в плечо с Романом. В какой-то момент именно против них оказалось не двое, а сразу четверо красногвардейцев. Бывалые фронтовики стали прикладами «обрабатывать» мальчишек. Володя, тем не менее, сдерживал натиск рябого в обмотках и полушубке красногвардейца и пришедшего ему на помощь низкорослого крепыша в офицерской шинели. Именно эта шинель навела его на мысль, что ее этот «краснопузый», скорее всего, снял с офицера, возможно, им же убитого. Негодование придало ему дополнительное остервенение:

– Подлецы, подлецы!... – Володя исступленно без устали орудовал цигелем, доставая то одного, то другого, в то же время ловко уворачиваясь от прикладов.

Изловчившись, он попал тому что в шинели в голову, у красногвардейца свалилась папаха, он бросив винтовку и держась за голову отступил. Второй в растерянности остановился. Володя, воспользовавшись моментом, поспешил на помощь к Роману, но не успел, у того уже выбили из рук цигель, свалили и молотили прикладами двое красных.

– Забью, бляденышь офицерский, чтобы на развод благородиев не оставлять! – орал один из нападавших на Романа.

Примерно в таком же положении, как и Роман оказалось уже большинство кадет пятиклассников, красногвардейцы буквально забивали их.

– Братцы, пятиклашек убивают... на помощь, господа кадеты! – сами по себе соорганизовались для оказания помощи явно сдающим своим младшим товарищам 6-ти и 7-и классники.

– Православные... да что же это... ребяташек, детей эти антихристы убивают! Подмогнём братия! – это уже громовым голосом оглашал огромного роста монах с дубиной из толпы верующих у другого конца соборной площади.

Володе пришлось бежать от нескольких красногвардейцев с перекошенными азартными лицами, но на помощь ему уже спешили.

– Не робей, не показывай противнику тыл! – с Володей чуть не столкнулся высокий семиклассник, с ходу вступая в противоборство с одним из преследователей Володи. Володя тоже затормозил, обернулся и обрушил свой цигель на второго...

Красногвардейцы, не выдержав напора, на этот раз обратились в бегство. На «поле боя» прихожане и кадеты кричали ура и бурно радовались. Появились женщины с корзинами набитыми всякой снедью, угощая «бойцов». Особенно сердобольные горожанки стремились угостить кого-нибудь из младших кадетов... Утром офицеры-воспитатели сумели увести возбуждённых, нагруженных пирожками, ватрушками и шаньгами кадетов в корпус и спешно начали учебные занятия...

В пятом классе шло плановое занятие по географии, но никто не слушал преподавателя. Кадеты втихаря дожёвывали ночное угощение, многие не могли сдержать зевоту, дремали. Да и сам преподаватель не столько объяснял урок и следил за кадетами, сколько смотрел в окно – весь корпус ждал, чем ответят большевики. Ведь простить случившееся ночью, они никак не могли.

Собрав все наличные силы, Совдеп к середине дня сумел полностью прекратить колокольный звон и разогнать народ от церквей. В городе ввели осадное положение. Кадетский корпус окружили. На этот раз против кадетов послали не случайно попавших в красную гвардию людей, прельщённых казённым пайком и кой-каким обмундированием, а отряд карателей-матросов, прибывших для подмоги местному Совдепу из Кронштадта. Обвешанные маузерами, гранатами и офицерскими кортиками матросы, выбив парадные двери, ворвались в корпус, будто штурмуя вражескую крепость, но воспитатели сумели удержать кадетов от сопротивления. Начался повальный обыск и допросы. Матросы всячески пытались спровоцировать в первую очередь старшеклассников, грозя перебить всех «романовских волчат», вслух громко вспоминали, как они зверски убивали юнкеров в Петрограде и Москве, как отрубали им руки, ноги... гениталии. Но желаемого ветераны «классовых сражений» так и не добились, ибо воспитанники корпуса были не вооружены и не отвечали на провокации. А всё оружие корпуса, как и положено хранилось в цейхгаузе... В тот же день Совдеп нанёс по контрреволюционному гнезду ещё один удар: созданный Фотеевым педсовет постановил в трёхдневный срок расформировать и распустить по домам три старших класса, и уволить большинство офицеров-воспитателей.

Старшие кадеты, оказавшись в «подвешенном» состоянии, стали собираться кучками и обсуждать, что делать дальше. Володю позвал тот самый рослый семиклассник, что помог ему тогда ночью. Позвал на общее собрание отчисляемых 6-го и 7-го классов:

– Айда с нами, ты парень боевой, нам подойдёшь.

Пошли в торцевую часть длинного здания, спустились на первый этаж, где находился туалет. Весь коридор перед туалетом заволокло густым табачным дымом, кадеты выпускного класса, забыв о дисциплине курили и галдели, стараясь перекричать друг-друга.

– Господа кадеты!... Раз мы исключены, то предлагаю недостающие нам месяцы учёбы заменить боевой практикой. Предлагаю всем идти в Захламихинскую в отряд есаула Анненкова и встать под славные знамёна, которые он увёз из под носа большевиков! – ораторствовал один из старшеклассников.

Кто-то встретил этот призыв криком ура и аплодисментами, кто-то негромко возражал. Володя смотрел на оратора восторженными глазами, он готов был прямо сейчас идти в Захламхинскую по льду Иртыша... На землю его опустил низкий голос их ротного воспитателя штабс-капитана Боярова:

– Кадет Фокин, ко мне!

Штабс-капитан стоял у входа в туалетную комнату и неодобрительно смотрел на расхристаных кадетов, многие из которых жадно смаковали махру и папиросы. Но замечания он сейчас сделать был им не в силах, в связи со случившимися событиями былой дисциплины в корпусе уже не было. Да и не за этим он спустился в туалет, он увидел, что с семиклассниками идёт один из его воспитанников, пятиклассник.

– Что ты здесь делаешь? – негромко, чтобы не слышали другие, спросил Бояров.

– Я... не знаю... – растерялся Володя. – Господин штабс-капитан, наш класс исключают и я...

– Я знаю, что класс исключают, и догадываюсь почему ты здесь. Пойми Володя им по 17-ть, а тебе 15-ть. Им-то ещё рано воевать, а тебе подавно. К тому же ты знаешь, что я обещал твоему отцу заботиться о тебе...

Сын станичного писаря станицы Долонской Николай Николаевич Бояров сам кадетского корпуса не кончал. Не окончив учёбы в реальном училище, он добровольцем пошёл вольноопределяющимся на японскую войну, где и служил в одном полку с хорунжим Фокиным, даже был его подчинённым. После войны Бояров выдержал экзамены в Оренбургское юнкерское училище и стал офицером. Ему-то своему полчанину и написал письмо с просьбой присмотреть за сыном Тихон Никитич. А тут ко всему в пятом классе штабс-капитан стал его офицером-воспитателем...

– В общем так, чтобы у тебя вновь не возникло подобных мыслей, поживёшь пока у меня дома, я ведь теперь тоже человек вольный, большевики меня уволили. А там посмотрим, мало ли что дальше будет, сегодня исключили, завтра восстановят. А шашкой махать и стрелять, это всегда успеешь. Понял? – безапелляционно подитожил штабс-капитан.

– Так точно, господин штабс-капитан! Но у меня друг, вы знаете, Роман Сторожев, он в лазарете, его красные сильно избили, голову проломили. Я не могу его бросить.

– Не можешь, говоришь. А что же тогда к Анненкову бежать собрался? – осуждающе спросил Бояров.

– Я... я не собирался, просто так, послушать пришёл, – пролепетал Володя, и опустив глаза густо покраснел.

– Ладно, подумаю, как и твоему другу помочь. А сейчас, форма одежды зимняя, шинель, шапка и пошли ко мне домой. Там и письмо твоим сочиним, а то, поди, беспокоятся в станице-то, вы ж о родных всегда забываете, когда какая шлея под хвост попадает. А ехать тебе пока никуда не надо, до Усть-Бухтармы далеко, а время, вон какое лихое. Поживёшь у меня, поглядим, посмотрим. А насчёт исключения горевать не стоит, кажется мне это временно, как и всё, что сейчас происходит. Ну, давай, иди одевайся...

Письмо, отосланное штабс-капитаном Бояровым в середине февраля непонятно как, но дошло всё-таки до Усть-Бухтармы к середине марта. Видимо кто-то продолжал то ли по инерции, то ли по заложенной на генном уровне привычке делать нужные для людей дела. Вокруг набухала, грозя взорваться кровавым гнойником, гражданская война, а кто-то по-прежнему собирал, сортировал и перевозил, принимал письма. И в мирное-то время это занятие счи-

талось не престижным, малозначительным, но кто-то продолжал им заниматься, даже когда слово взял «товарищ маузер». У Фокиных в день, когда, наконец, пришло письмо из Омска, был праздник не меньший, чем у Решетниковых, когда вернулся Степан.

7

Братья Решетниковы почти каждый день уединялись и вели затяжные разговоры, переходящие в неразрешимые споры...

– Да пойми ты, я только что полстраны наскрозь проехал, такого навидался. Старой власти, ни царя, ни временного правительства уже не будет, вся вышла, вся армия разбежалась, воевать больше никто не хочет. Потому большевики нигде отпора и не получают. Они сейчас с немцами замиряются, и за это им пол России отдадут. Чтобы этого не случилось, надо не дать им внутри укрепиться. Ведь власти этой, советской, кроме больших городов, нету нигде. А в стране уже голод начался. А накормить людей как? Хлеб у мужика да казака отбирать надо, только так, грошей-то у большевиков тоже нету. А тама, в Рассее, уже и отбирать нечего, говорили, что почти весь хлеб съели, семенной тоже, сеять нечего будет весной, – пророчил Степан.

– Ну, у нас, слава Богу, здесь и порядок, и хлеба много запасено. Переждать надо, а там действительно, может, эти большевики сами драпанут, когда увидят, что не выходит у них такой страной управлять, – высказал свое мнение Иван.

– Да пойми ты, Ваня, нельзя ждать да годить, если царя не восстановит, нам, всему казачьему сословию жизни не будет. Или с мужиками сравниют, а то и того хуже, всех нас под корень изведут. Слышал, сколько у этих большевиков жидов в руководстве? А оне, сам знаешь, на нас, казаков, большущий зуб имеют. Сколь их наш брат плетью перепорол, да с девками и бабами ихними не церемонился. Вот потому оне с рабочими сейчас и спелись, мы у их общий враг, и тем и тем при царе спуску не давали. И никто этой опасности видеть не хочет. Тут в станице, прям диву даюсь, живут как до войны, будто не случилось ничего, и знать не хотят, что вокруг деется. Празднуют и празднуют, то престольные, то крестины-именины, то просто так. Жрут, пьют, гуляют, баб мнут, чего им, жратвы и самогонки вволю. Не ожидал я такого от наших станичников. В других отделах не так, да и в нашем, в павлодарских и семипалатинских станицах не так, там уже призадумались.

– Не суди строго Стёпа. Мы тут на отшибе, новости долго идут, а люди с фронта недавно пришли, к жёнам, детям вернулись. Может не было бы так, если сюда какого комиссара с красногвардейским отрядом прислали. А то власть-то у нас как была, так и есть, вон он в правлении, как сидел, так и сидит господин атаман Фокин Тихон Никитич, а при нем всё тихо и спокойно. Так почему же при таком спокойствии и не пожить в свое полное удовольствие? – не согласился с братом Иван.

– Да не время сейчас Ваня жить-то в это самое удовольствие, на печи лежать, вино пить да бабой своей тешиться. Дождётесь, большевики придут, они и с печи сгонют, и баб, как это у них говорят, социализируют, общими сделают, – горячился Степан.

– Ну, эт ты хватил, – недоверчиво усмехнулся Иван.

– Ничего я не хватил. Я ж чего так вырядился-то, в тулупе этом и валенках, как вахлак какой ехал. Я ж говорю тебе, что задание у меня от самого Бориса Владимырыча, атамана нашего отряда. Это он приказал мне дезертиром таким вот одеться и по дороге присмотреться, прислушаться, где, как и что. Вот я по всей дороге от Омска до Новониколаевска и дальше через Барнаул до Семипалатинска и следил, смотрел. В энтих городах большевики везде власть взяли, правда в Семипалатинске совсем недавно и месяцу нет, да и то потому, как им на под-

могу из Омска отряд красногвардейцев прибыл. Рабочие там везде голову подняли, первыми людьми стали. Чувешь, к чему идёт? – с тревогой в голосе спросил Степан.

– Чую, только думаю, всё это не надолго и не в серьёз. Чтобы неграмотные и малограмотные рабочие смогли управлять губерниями, городами, всей страной. Вряд ли что у них выйдет. Потому повторяю, нам сейчас в эту кашу лучше не соваться, переждать, пока всё само-собой успокоится, как Тихон Никитич советует. У нас тут свои дела, весной надо отсеяться, осенью урожай собрать. Для такой тактики у нас имеются все основания. Сюда к нам в горы никакая красная гвардия не поднимется, а со своими новосёлами и рабочими с Зыряновска мы управимся. Да они и сами не сунутся, знают, что казаки спуску не дадут. А к будущему году, думаю, и в России всё утрясётся-успокоится, – непоколебимо стоял на своём Иван.

– Эх, брат, так-то бы оно хорошо бы, но ты ж почитай уже с шестнадцатого году в России-то не бывал, то в Семиречье, то в Туркестане, то в Персии, и что сейчас в России деется не ведаешь, а я ведаю. Не утрясётся, не успокоится, и не надейся. Страну так взбаламутили все эти большевики-эсеры, что без драки уже не обойтись, мало с германцами, австрияками да турками воевали, теперь ещё друг дружку кровь пускать будем, это точно. А насчёт того, что рабочие не смогут государством управлять. Так оне и не будут управлять, им просто будут говорить, что они всего хозяева, а верховодить другие станут, кто сроду, ни молотка, ни плуга, ни винтовки в руках не держали. У большевиков ить в начальниках да комиссарах, я те говорю, много нерусских, и оне все очень даже образованные, жидов там как собак, армяшек, да и русские найдутся, вот оне и управлять будут. Ты только подумай, во главе Россеи не русские будут. Оне нам науправляют. Силу, понимаешь, силу собирать надо, пока не поздно, чтобы с этим варначём покончить, Россию спасти! – с пафосом заключил Степан.

– Ишь ты. И где ж ты так образовался? Прямо агитатор. Кто ж тебя всему этому выучил? Говоришь, будто не станичное училище кончил, а целый университет. В нашем полку такой вольноопределяющийся был из студентов, тоже про политику как начнёт болтать, соловьем разливается, не остановишь, – усмехнулся Иван.

– У меня Ваня свой нирсетет, лучше любого. Я ж говорил, атаман наш, Борис Владимирович. Казаки, кто с ним служил, все вот также мыслят, и относятся к нему как к брату старшему, да чего там, как к отцу родному, хоть он годами меня всего чуть старше. Во, кто все так просто и понятно объяснить умеет, потому ему все верят, и я тоже верю. За ним в огонь и в воду. Вокруг него и знамени Ермака, что он отбил у большевиков, скоро соберутся тысячи и тысячи. И что тогда вы здесь говорить будете, когда тама Россею будут спасать, а вы тут пахать, сеять, жениться, – последний «камень» Степан бросил явно в «огород» брата.

– Погоди, погоди. Ты мне о том, что будет не надо. Ты мне конкретно скажи, сколько у вашего атамана, о котором ты тут как о герое народном рассказывал... сколько у него сейчас людей? – не дал увлечь себя эмоциями Иван

– Пока, конечно, немного... но он таких вот как я разослал, а сам по Горькой линии от станицы к станице ездит, людей, своих бывших полчан собирает, так же вот, как я тебе всё станишникам разобъясняет. Я уже тут переговорил с некоторыми своими полчанами. Ох, и быстро же здесь разнежилась казачки. На бабе месяц-другой полежал и всё, не казак, а сам баба. Вона Алексашка Солодов, в одном взводе с им служили. А вчера зашёл к им, не узнал полчанина, сала наел за это время пуда на полтора лишку против прежнего. Смеется, говорит, во баба кормит, ни гимнастёрка ни шаровары старые не налазят, и на коня строевого не садится, боится не сдюжит. Разиж такой куды-то пойдёт воевать? Нет, брат, спешить надо, пока здесь все жиром не заплыли, не обабилась, как Алексашка, пока ещё не забыли, как шашку из ножен вынимать, – лицо Степана было озабоченным.

– Понятна твоя позиция, Стёпа. Так говоришь, атаман ваш звание есаула имеет? – задумчиво спросил Иван, и, не дожидаясь ответа, продолжил. – Неужто, ты думаешь, что есаул сможет возглавить какое-то серьёзное движение, или хотя бы крупное войсковое соединение?

Допускаю, что полком он ещё сможет командовать, но не больше. Да и не дадут ему осуществить, что он задумал. Вон сколько генералов нынче не у дел осталось.

– А Борис Владимирович, он ни у кого разрешения спрашивать не будет. Пока все эти генералы чухаются, он армию соберёт и всех этих большевиков с жидами под корень вырубит, и я ему в этом помочь хочу... Вот только как я к нему сейчас один заявлюсь, стыдно. Хоть бы несколько станишников сагитировать. Тебя, вот тоже хотел... Думал приведу с собой не простого казака, а брата-офицера, и не из тех, кто на фронте из грязи выслужился, а настоящего с образованием. Но гляжу тебе сейчас не до того. Что, всерьёз жениться собрался?

– Степа, если бы у тебя с женой так вот не вышло, и ты бы по-другому мыслил, – резонно заметил Иван. – А насчёт женитьбы, да всё у нас на полном серьёзе.

– Не знаю, Ваня, не знаю. Только знаешь, хоть и грех, наверное, но я иногда думаю, что так оно даже и лучше, что Нюра то моя померла не разродившись. Не имею я к семейной жизни ни какой тяги и раньше не имел. А ты раз вознамерился, женись. Оно конечно Полина Фокина в станице первая невеста, но разве можно равнять... Россею и бабу, даже самую распрекрасную?...

После каждого такого разговора с братом Иван чувствовал, что с ним происходит нечто похожее на раздвоение. В нём будто жили два человека. Один твёрдо стоял на позициях схожих с мнением Тихона Никитича Фокина, чей авторитет для Ивана был непререкаем, который предпочитал выжидать и сохранить в станице и окрестностях мир и хотя бы подобие порядка. Именно Фокин убедил Ивана, что тому сейчас лучше сидеть в станице, в родительском доме и никуда не отлучаться. Ведь многие демобилизованные из армии офицеры в городах совершенно не востребованы и влачат нищенское существование, да ещё подвергаются всевозможным преследованиям со стороны совдепов. Так что Ивану, выросшему в станице и с детства имевшему навыки вести сельское хозяйство, хоть это и недостойно офицера, но лучше заниматься им, чем голодать в городе. Конечно, Тихон Никитич на всякий случай сгущал краски, страшил Ивана, как бы тому по молодости не взбрело куда-нибудь рвануть на поиски «благородных дел», ведь в городах формировались и действовали тайные офицерские организации, готовящие свержение советской власти. А лишить дочь жениха Тихон Никитич совсем не желал.

Второй человек, «возмужавший» внутри Ивана в результате бесед с братом, протестовал, возмущался позицией первого: как ты можешь, когда отчизну рвут на части шайки политических авантюристов, мечтать о женитьбе, ходить каждый вечер к невесте, вдыхать аромат ее волос, ощущать губами и руками ее упругое податливое тело... мечтать о том дне, когда она вся, законно будет принадлежать тебе. Ведь он отлично знал, что в это самое время тысячи и тысячи женщин бесчестятся и унижаются из-за отсутствия законной власти. Он сам видел, что случается в такой ситуации, вспоминая тех девочек-гимназисток, сначала обесчещенных, а потом оголёнными посаженных киргиз-кайсацами на острые колья монастырской ограды. Сейчас, когда он бывал в доме Фокиных и уединялся с Полиной в ее комнате... Иногда он, расстегивая пуговицы ее платья, вдруг ни с того ни с сего одёргивал руки. Нет, он не стыдился, как казалось лукаво улыбавшейся при этом Поле, ему становилось страшно: видя расшитый кружевной лиф и пышные белоснежные панталоны под юбкой... Точно такие же, вернее изодранные остатки он видел на тех девочках, истёкших кровью до восковой желтизны на монастырской ограде. Ведь там погибли гимназистки, дочери состоятельных родителей, в том числе и из казачьих семей города Верного, и на них было дорогое бельё. Иногда в его воображении даже возникала жуткая картина, что на той монастырской ограде не худенькие девочки-подростки, а его Поля во всей своей нынешней красе.

Чтобы избавиться от этих раздвоений и видений, Иван целыми днями неистово и тяжело работал на скотном дворе и в овчарне, находил работу и в избе, возил сено с заимки в сарай, колот дрова. Мать, видя такое, упрекала отца:

– Чего ты Ваню-то запряг, он чай не для того на офицера училси, чтобы навоз убирать. Ты бы лучше Стёпу к делу определил, а то он всё больше по станице носится и дома почти не бывает.

– Дак это, кто ж его Ваньку-то заставляет, сам как оглашенный рвётся. Видать соскучилси по работе-то, – отвечал Игнатий Захарович, но и сам иногда сдерживал сына. – Ты полегше Ваня, не надрывайся, управимся и так, не спеша.

А Иван, наработавшись, переодевался и, стараясь не встретиться со Степаном, который своими разговорами уже начал его раздражать, спешил к Фокиным, где был желанным гостем.

8

Полина ждала Ивана как обычно к семи часам вечера, но на этот раз он опоздал более чем на полчаса. Первой встретила его Домна Терентьевна – жених дочери ей всегда импонировал. Она выделяла его ещё мальчишкой, и в отличие от мужа никогда не желала дочери другого суженого. Тихона Никитича дома не было. В последнее время атаман дольше обычного засиживался в правлении или на почте возле телеграфного аппарата, пытаясь из путаных телеграфных распоряжений определить, что же всё-таки творится в уезде, в области, что представляет из себя, только что закрепившаяся, и в Семипалатинске, и в Усть-Каменогорске советская власть.

– Раздевайся, иди скорее, уже извелась вся, будто не вчера, а год назад расстались, – с деланным недовольством, о чём говорила насмешливая улыбка, напутствовала Ивана Домна Терентьевна, облаченная в домашний бархатный халат, выгодно подчёркивавший её необычное даже для казачки дородство.

Чтобы натопить просторный дом, Фокины имели в нем две печки, которые в зиму топились попеременно, утром одна, вечером другая. За ними следил сорокадвухлетний Ермил, одноглазый казак, когда-то служивший под командой Тихона Никитича срочную. В схватке с китайскими хунхузами он лишился глаза и получил тяжёлое ранение в низ живота. Следствием ранения стало то, что от Ермила ушла жена, и он уже не мог жениться и остался бобылём. Когда умерли родители, он остался совсем один одинёшенек и запил с горя. Не дал Тихон Никитич пропасть своему бывшему подчинённому, взял к себе постоянным работником. Со временем Ермил стал больше чем работник. Станичные зубоскалы за глаза звали его атаманским псом.

Вторым постоянным работником в доме атамана был киргиз двадцатилетний Танабай. Этот ещё мальчишкой нанялся пасти на той стороне Иртыша атаманские отары. Услужливый киргизёнок понравился Тихону Никитичу, и он за небольшую ежегодную мзду фактически купил его у бедных и многодетных родителей. Проведя большую часть жизни в станице, Танабай и языку выучился, и чувствовал себя здесь куда увереннее, чем в родном ауле. Он лелеял мечту и жениться здесь. Но какая же казачка пойдёт за киргиза, за нехрестя. И Ермил, и Танабай жили в старом доме, ещё построенном отцом Тихона Никитича. Там же, но отдельно от работников проживали и две постоянные работницы. Дальняя родственница Домны Терентьевны из Большенарымского поселка, Пелагея, старая дева сорока лет, исполняла обязанно-

сти поварихи и уборщицы. Ермил и Пелагея имели право свободного доступа в сам атаманский дом и пользовались особым доверием хозяев.

Вторая работница девица Анастасия, двадцати трёх лет, сирота, которую еще ребенком подобрал Тихон Никитич, когда ехал по какой-то надобности в Усть-Каменогорск и увидел на дороге, оборванную плачущую худую девочку. Оказалось ее родители-новосёлы, так и не доехав до места своего нового местожительства, умерли почти в одночасье, чем-то заразившись, и Настя осталась одна в чужом незнакомом краю. Атаман подобрал несчастного ребенка, намереваясь либо отправить к родственникам, либо сдать в приют. Но родственники не отыскались, приют... В общем, осталась Настя в доме Фокиных и вот уже почти десять лет выполняла обязанности прислужницы и батрачки в одном лице. Эта рослая, костистая девушка занималась самой грязной и тяжёлой работой по хозяйству, стиркой, дойкой. Замуж?... Даже если бы Тихон Петрович в знак благодарности за многолетний безропотный труд дал за Анастасией приданное, на что он не раз намекал, никто бы не «клянул» даже из батраков-новосёлов. Уж очень некрасива была Настя, особенно на фоне молодых казачек, которых, как правило, с детства холили родители. Ей оставалось надеяться разве что на Танабая. Но даже он от Насти «воротил нос», и когда ему сезонные батраки в шутку намекали, дескать, хочешь жениться на русской, вот самая тебе подходящая невеста... В ответ Танабай раздувал ноздри и зло ругался:

– Я на бабе жениться хочу, а не на жердине, чтоб у ей сиськи был, курдюк был, брюхо был. Мужик на мягком бабьем брюхе лежать должен, а не на мослах...

– Тогда Танабайка тебе такая баба, как хозяйка твоя, Домна Терентьевна, нужна, во, там есть на чём полежать... ха-ха!!... – заливались насмешники, а Танабай злой и красный как рак спешил куда-нибудь убежать.

Вообще-то в станице, пожалуй, нашлись бы казачки в возрасте и подородней атаманши, но что касается, так сказать, качества полноты, холености, или как это называли казаки «гладкости», равной Домне Терентьевне не было. Ни одна из казачек, при столь внушительном весе так хорошо не смотрелась, с таким достоинством не носила свое одновременно, и объемное, и красивое тело. Это имело наследственные корни, очень полными и в то же время красивыми были её, и мать, и бабка. Причём бабку однажды её вес даже спас от плена и судьбы наложницы-рабыни, проданной на каком-нибудь бухарском или афганском невольничьем рынке, где полнотелые русские женщины всегда были в большой цене.

То случилось ещё в пятидесятых годах в окрестностях Большенарымского посёлка. Шайка конных киргизцев где-то втихую переплыла Иртыш и, спрятавшись в перелесках, ждала удобного момента, чтобы словить кого-нибудь на аркан и угнать в степь. Дело было на покосе, когда бабы угребали сено. Киргизы выскочили неожиданно, похватили женщин, кто не успел увернуться, побросали поперёк сёдел. Тот который наткнулся на бабку Домны Терентьевны, тогда, конечно, не бабку, а двадцатипятилетнюю сочную молодку, мать троих детей, тянувшую где-то пудов шесть... Поперек седла он в горячке как-то её забросил, но маленькая киргизская лошаде́нка не выдержала общей тяжести, проскакав всего-ничего, сбилась, угодила ногой в какую-то нору, упала и не смогла подняться. Когда подросли казаки, они взяли оставшегося пешим киргиза, приставив к его горлу лезвие шашки, выяснили где тайный брод, и, пустившись в погоню, выручили остальных пленниц.

Впрочем, сама Домна Терентьевна в молодые годы на свою знаменитую бабку не очень походила. Даже родив Полину, еще во времена армейской службы Тихона Никитича, она почти не поправилась. Но, поселившись в станице, они начали богатеть, в доме появилась Пелагея, и часть домашних забот легло на нее. Серьезно полнеть Домна Терентьевна стала после рож-

дения Володи. А уж по мере взросления Насти, когда на её хоть и костлявые, но широкие и сильные плечи легла вторая половина дел, атаманше осталось только водить руками. К сорока пяти годам Домна Терентьевна если и не превзошла бабуку, то во всяком случае уже ей не уступала, и случись с ней такая же напасть, вряд ли бы киргизы смогли её увести на своих чахлах лошадёнках.

Иван в шерстяных носках, неслышно ступая по мягкой кошме, прошёл через гостиную в комнату Полины. Ивану всегда нравился уют и необычный для казачьего дома достаток фокинского дома. О том достатке говорило буквально все, и тяжелые плюшевые портьеры на окнах, изысканная гнутые венские столы, стулья и кресла, покрытые лаком насыщенного темно-коричневого цвета, солидные, сделанные под старину, пузатый комод, буфет с цветными стеклами в узорных дверках, с резными украшениями, большой платяной шкаф со столь же большим зеркалом. На отдельном столике, ослепительно блестя, возвышался большой «боташевский» самовар. Если дверь в спальню хозяев приоткрыта, то можно увидеть огромную варшавскую кровать с фигурными украшениями на спинках в виде тонкого чугунного литья. В углах гостиной стояли большие фикусы в кадках. Во всех комнатах ярко горели керосиновые лампы. В отличие от Решетниковых здесь керосин не экономили, его у Тихона Никитича всегда было запасено впрок.

Полина нарочно не вышла встречать жениха, как она это делала обычно, а сидела за столом и проверяла школьные задания учеников. Таким образом, она выказывала, что сердится на него за опоздание. Ее комната была примерно вполовину меньше гостиной, но тоже весьма немаленькая. Убранство, правда, попроще, разве что портьеры на окнах были такие же, а кровать естественно и поуже и перина на ней не столь внушительна, и подушки не горкой, как в спальне родителей, а одна, правда большая и туго набитая хорошим пухом. Еще здесь имелось светло-коричневое пианино, купленное после окончания Полиной пятого класса гимназии и переправленное, как и вся остальная дорогая мебель из Семипалатинска специальным рейсом на личном пароходе купца Хардина. Здесь же в углу комнаты был приткнут и граммофон на маленьком столике, рядом возвышались стопки пластинок. Вообще-то граммофон, пока Полина училась в гимназии, стоял в гостиной и заводился по праздникам, или с приходом важных гостей. Но, как только дочь закончила свою учебу и окончательно вернулась в родительский дом, она его незамедлительно «реквизировала», ибо куда чаще родителей любила слушать пластинки, большую часть которых сама же и привезла из Семипалатинска...

Иван подошёл сзади и положил руки ей на плечи, покрытые кашемировым платком. Она попыталась освободиться, состроив недовольную гримасу. Он же завалил её назад вместе со стулом и хотел поцеловать...

– Ну, вот ещё, что за моду взял?... Пусти!... – Полина не давалась. – Что это вы, господин сотник, себе позволяете!? – данные слова должны были означать ее крайнее недовольствие.

Полина вырвалась, отложила перьевую ручку, вскочила со стула и вновь изобразила почти неподдельное возмущение.

– Ну, Поля, ты же знаешь, сбрую чиним, к севу готовимся. Ну, и брат, Степан, с ним заговорился, ну прости, – молил, скрестив руки перед грудью, Иван.

Иван был прощён через пять минут. Молодые люди уселись на тахту и занялись тем, чем регулярно занимались уже больше месяца, после того, как было объявлено о предстоящей

свадьбе. В казачьей среде физическая близость до свадьбы в уважаемых семьях была немислима, и у Полины с Иваном не могло возникнуть таких поползновений. Но даже то, что они себе позволяли, наверняка бы, вызвало осуждение в станице. И Домна Терентьевна и Тихон Никитич догадывались, чем занимаются молодые, уединившись в комнате Полины. Но родители делали вид, что ничего особенного не происходит, так же вела себя и прислуга, и уж тем более никто ничего не знал вне фокинского дома, ведь все постоянные обитатели атаманского подворья никогда не выносили «сор из избы».

Уже по тому, как Иван её ласкает, Полина почувствовала, что он сегодня какой-то не такой как всегда. Обычно он с горячим упорством преодолевал её показное сопротивление. Сейчас же эта горячая нетерпеливость явно отсутствовала. Даже дотрагиваясь до её весьма интимных мест, он действовал скорее механически, не выказывая ни жара, ни сдерживаемого желания.

– Что с тобой Ваня? Ты как будто всё время о чём-то думаешь, – не могла не озаботиться данным обстоятельством Полина.

– О чём мне думать... о тебе, о нас с тобой, о чём же ещё? – пытался отшутиться Иван.

– Да нет, я же чувствую, ты мыслями где-то далеко. У тебя что-то стряслось?

– Я же говорю, брат... каждый день чем-нибудь да огорошит, порасскажет всякого, – Иван чуть отстранился от Полины.

– И что же он такого рассказал, что ты, даже ко мне приходя, только об этом и думаешь? – Полина недовольно передёрнула покатыми плечами.

– Да всё про власть эту новую. Говорит, что там одни ухорезы да варнаки сидят и много нерусских, нам всем погибель готовят, – откровенно признался Иван.

– Ну, про то сейчас кто только не говорит. Папа вон тоже иной раз аж почернеет от беспокойства этого. Даже от атаманства хочет отказаться, – на мгновение в глазах Полины заглясь тревога, но тут же вновь её сменило нетерпеливое ожидание счастья – как можно о чём-то переживать всерьёз двадцатилетней здоровой красивой девушке, когда рядом любимый и она ожидает скорого с ним замужества.

Полина обняла Ивана за шею и уже сама стала проявлять активность, валить его на тахту, целовать, проникая языком ему в рот.

– Ну, что ты делаешь Поля... щекотно, – шептал Иван, – я же могу так ненароком язычок тебе прикусить, – смешливо говорил Иван, освобождаясь от столь неудобных для него объятий.

– Я же тебе говорила, так у нас в гимназии девочки целовались, кто кого щекотнее зацелует, – пояснила Полина.

– Тебя послушать, там у вас не гимназия была, а не пойми что...

Во все времена многие влюблённые живут как бы вне мира, параллельно событий происходящих вокруг них. Полина воспринимала реальность не как окружавшие, не как ее отец, или даже Иван. С детства любимица отца, она привыкла позволять себе много больше, чем девочки в других казачьих семьях, а положение и состоятельность Тихона Никитича позволяли удовлетворять многие её не только желания, но и капризы. Пока её минула пресловутая «тяжёлая женская доля», хотя она ее видела везде и всюду, даже у себя дома... она с детства к этому привыкла и считала само-собой разумеющимся. Так же ей казалось вполне естественным, что она, в отличие от прочих девочек-казачек, никогда не работала в поле, не возилась со скотиной, как и то, что по дому грязную работу делает прислуга. К тому же большую часть жизни с десяти лет она проводила не дома, а в Семипалатинске, где училась в гимназии, а когда приезжала в станицу на каникулы, здесь все с ней носились как с писаной торбой, не

позволяя ни к чему приложить руки. А в Семипалатинске она жила в доме богатейшего купца Хардина Ипполита Кузмича, являлась не просто подругой, а фактически на положении сестры его дочери Елизаветы – там дом тоже был полон прислуги. За годы учёбы Поля и выросла такой вот городской барышней. Со стороны, не зная происхождения, ее можно было принять за девушку из купеческой, или даже дворянской семьи. В ее жизни, в общем, пока всё складывалось относительно неплохо, в том числе и факт возвращения с войны жениха живым и невредимым. Потому, ей сложно было думать, что в будущем у нее всё будет не столь счастливо и безоблачно, как до сих пор.

Иван не мог смотреть на мир с тем же оптимизмом. Романтизм, присущий ему в кадетские годы, частично улетучился уже в 1912 году, когда его после кадетского корпуса определили не в привилегированное Николаевское кавалерийское училище, располагавшееся в Петербурге, а в относительно непрестижное Оренбургское. Сказалось отсутствие связей и то, что он не офицерский, а урядничий сын, хотя по успеваемости он превзошёл многих из тех, кто поехал в Петербург. В Оренбурге, в юнкерском училище, учились представители всех казачьих войск кроме Донского, имевшего своё собственное Новочеркасское училище. Так вот, там учились в основном такие же как Иван выходцы из простых казачьих семей, но имела место совсем другая иерархия, по войсковому признаку. Иван с удивлением обнаружил, что их Сибирское казачье войско, что называется, не котируется. В училище имело место откровенное засилье оренбуржцев, потому что местные, и кубанцев, потому что их было больше всех и среди юнкеров из кадетов и гимназистов, поступавших на двухгодичный срок и особенно из вольноопределяющихся и прочих, не имевших законченного среднего образования, проходивших трёхгодичный курс. Все младшие командиры, то есть портупей-юнкеры, назначались в основном из оренбуржцев или кубанцев, и они делали поблажки своим землякам за счёт остальных.

Потом, после выпуска, вновь напасть какая-то, началась война и его совсем неопытного молодого хорунжего определили в 9-й третьеочередной полк командовать казаками, значительно старше его по возрасту. Конечно, сначала подчинённые, многие из которых имели по несколько детей, его в грош не ставили. Но когда в пятнадцатом году их полк отправили на фронт, Иван обтерся, освоился и те же матерые казаки видели в нём уже не юнца, а командира. Германский фронт с его суровой правдой, тяготами и ежедневной опасностью быть убитым или искалеченным, ещё более отдалил Ивана от романтического восприятия реальной жизни. А окончательно ее добило подавление бунта в Семиречье, то что он увидел на берегу Иссык-Куля. Сейчас он отчётливо как никогда представлял себе, каким тяжких «эхом» отзывается отречение царя для всей страны и казачества в частности.

– Да что с тобой опять? – Полина уже начинала злиться, видя что жених по-прежнему не весь «с ней», а лишь частично, мысли же его блуждают где-то в пространстве.

– Прости Поля... не могу не думать. Боюсь я, – признался Иван.

– Боишься, чего? – удивилась Полина.

– Боюсь, что впереди нас бойня кровавая ждёт. А я крови-то уже насмотрелся, знаю, если начнут лить, не остановить. Там уж кровь за кровь пойдёт, а то и просто так из озорства или забавы ради убивать будут.

– А мне не верится, что русские с русскими воевать начнут, – не согласилась Полина. – Ну, может быть варнаки какие-нибудь поозоруют, но их же и утихомирить можно. Вон царь отрёкся когда, и то никакой междоусобицы не было. Керенский ушёл, и эти уйдут, и в конце концов к власти придут такие умные и честные правители, которые искренне желают добра России, – в сознании Полины был выстроен самый оптимистический прогноз.

– Да нет Поля, Керенский не ушёл, его скинули. И этих большевиков-агитаторов я на фронте слышал, прокламации их читал. Это не просто варначья банда, эти агитацией своей ведут к расколу общества, одних на других натравливают, бедных на богатых, солдат на офицеров, мужиков на казаков. Если послушают их, поверят – кровавая каша будет...

9

Февраль в Петрограде выдался выюжным. Метель била в стёкла ветхих, крытых толем домишек, в слободе, где жили рабочие Обуховского завода. Рядом пролегла железная дорога и от проходящих составов дрожали тонкие дощатые стены, вибрировал пол. Ночью, при усилении мороза, «крик» паровозных гудков казался особенно пронзительным.

Дом Грибуниных, такой же как и рядом стоящие, приземистый, серый, «засыпушка» – два ряда досок меж ними засыпан шлак. Разве что занавески на окнах понаряднее чем у других, из более дорогого ситца. Зато внутри убранство грибунинского дома сильно отличалось от прочих жилищ обуховцев, ибо имелась здесь такая вещь, которой в рабочих семьях просто не могло быть – пианино. Инструмент стоял в гостиной, с него регулярно стирали пыль и частенько хозяйка дома Лидия Кондратьевна на нём играла... Как играла большинство из собиравшейся в доме публики определить не могли, но все благоговели перед хозяйкой, женой рабочего и дочерью рабочего, сумевшей постичь это барское умение. Впрочем, изредка случавшиеся среди гостей студенты, знавшие толк в исполнительском искусстве, потом вроде бы посмеивались и говаривали, что она едва постигла азы музыкальной грамоты, и по клавишам стучит как барабанщик Преображенского полка в свой барабан на параде.

После Октябрьских событий Лидия уже крайне редко садилась за пианино – стало не до политических посиделок с чаем и музыкой. Они с мужем ждали... ждали, как им казалось, заслуженной награды от родной рабоче-крестьянской советской власти, весомой награды, соответствующей вкладу большевика с 13-го года Василия Грибунина в дело торжества революции, рабочего класса. Конкретно, они ждали высокой должности. Кому же, как не Василию следует занять какой-нибудь важный пост, например в Петросовете. Василий потомственный рабочий, его старший брат участник знаменитой «Обуховской обороны», убит в «Крестах» царскими жандармами. Конечно, в то время погибло не мало рабочих при разгонах стачек, демонстраций, маёвок... Но брат ученик самого Ленина, занимался в его революционном кружке, а ещё раньше у его жены Крупской, в начальной воскресной школе. Эх, жаль не дожил брат. Уж он то наверняка был бы отмечен Лениным и помог бы брату. Но и без этого Василий столько сделал для партии, побольше чем эти деятели, приехавшие с Ильичем из эмиграции...

За окном уже давно стемнело, а Василия все не было. Лидия затопила печку и, экономя дрова, бросила в неё прокладку железнодорожной буксы, отчего в доме воздух стал противно сладким от сгорания этой насыщенной нефтепродуктами ткани. В десять часов утолкала спать так и не дождавшихся ужина сыновей: 12-ти, 10-ти и 8-и летнего. Самой лечь на голодный желудок не хотелось, однако в доме кроме опротивевшей мороженой картошки ничего из съестного не было. Хлебную норму по осьмушке на душу давали на заводе, но Василий с утра как ушёл туда так и не вернулся, чем обрёл всю семью сидеть не евши до своего прихода.

Голодали и мёрзли все рабочие семьи, но не это возмущало Лидию, а то, что голод и холод переносит и ее семья, семья коммуниста, активного борца с царским режимом и временным правительством. Разве о такой жизни после революции она мечтала, когда выходила

замуж, чтобы на четвертом десятке иметь вот такую хибару, которую к тому же почти нечем топить, а главное нечем кормить детей. Разве это полтора десятка лет назад обещал ей Василий, работавший тогда учеником у ее отца?... Отец Лидии был рабочим, но рабочим уникальным. Он выучился работать на всех видах станков, токарном, фрезерном, сверлильном... и на всех работал виртуозно. Никто из рабочих не получал столько жалованья, сколько ее отец, никого так не ценило начальство. Потому и смог он определить свою дочь в гимназию, где учились в основном дочери дворян и купцов. В гимназии она, конечно, пришлась не ко двору, и все годы учёбы была «белой вороной». Она возненавидела всех этих буржук, и когда стала встречаться с Васей сразу и бесповоротно поверила его крамольным речам о брате, революционерах, большевиках. Не обижалась на него даже когда слышала не совсем приятные высказывания о своём отце:

– Что твой батя горбатится, хозяевам угождает? Они его всё равно никогда за ровню держать не будут, человеком считать. А я ... я жизнь положу, но всех этих хозяев сковырну, чтобы не их, а наша власть была, рабочая...

Нелегко складывалась их семейная жизнь. Отцу не нравился «бунташный» жених дочери, она вышла за Василия против его воли. И вот после стольких лет лишений и тревог, обысков, арестов мужа, ношения передач в тюрьмы, когда она уже и сама перестала верить, что обещанное им «светлое завтра» наступит, то про что пелось в песне, которую под ее аккомпанемент часто пели товарищи Василия:

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь – тяжёлый труд,
Но день настанет неизбежный,
Оковы тяжкие падут...

И вот, наконец, свершилось – оковы пали, занялась заря нового мира, рабочий класс объявлен гегемоном, то есть стал правящим в России. То, что далеко не все рабочие выйдут теперь в баре Лидия понимала – это невозможно, кто-то должен продолжать работать. Но активисты-революционеры, бывшие подпольщики, такие как её Василий? Разве он не заслужил высокую руководящую должность? И ей как жене, разделившей с мужем все тяготы революционной борьбы, тоже положена должность. Тем более, что среди жён прочих рабочих нет ни то что с гимназическим образованием, мало просто грамотных, умеющих читать и писать. Она ещё не старая и хочет успеть насладиться жизнью, так же как ею наслаждались при царе дворянки и купчихи, матери её гимназических соучениц. Она тоже хотела иметь свой большой дом, одеваться в хорошо сшитые модные платья, душиться дорогими духами, носить золотые и бриллиантовые украшения, танцевать на балах, ходить в оперу и на балет, ездить по заграницам, есть изысканную пищу, есть вдоволь, иметь возможность выучить и хорошо устроить в жизни детей...

Именно сегодня в этот вьюжный февральский день Василий собирался повидаться со своим давним товарищем по дореволюционному подполью, который сумел «зацепиться» в Петросовете. С завода, где Василий занимал ничтожный пост главы профсоюзного комитета, он должен был сходить в Петросовет и там с ним переговорить. Но что-то очень долго его не было. Что бы это могло означать? Лидия всё больше нервничала – в Петрограде, особенно по ночам был настоящий преступный разгул.

Василий пришёл чуть не к полуночи. Вошёл хмурый весь в снегу, на плече мешок – получил на заводе паёк на неделю.

– Что так поздно... забыл, что мы тут с утра без хлеба сидим? – не смогла сдержаться Лидия, хотя за пять минут до этого готова была простить мужу всё, лишь бы он вернулся живым домой. Вглядываясь в плохо выбритое лицо Василия, она в то же время пыталась определить, угадать результат его визита в Петросовет.

– Так уж вышло... Чем это в доме воняет, опять буксу жгла? – лицо Василия исказила гримаса.

– А что, замерзать прикажешь, дров-то, сам знаешь, только на растопку осталось! – вновь повысила голос Лидия.

Василий разделся, и когда жена стала разбирать принесённым им паёк, добавила света, выкрутив побольше фитиль керосиновой лампы, он отвернулся чтобы не дышать в ее сторону. Однако Лидии всё равно стало ясно, что муж выпивши.

– Это ещё что за новости? Мы же с тобой уже говорили об этом, а ты опять? Семья с голоду чуть не пухнет, а он где-то шляется и водку пьет! – всё больше заводилась Лидия.

– Тише ты... ребят разбудишь. Как будто не знаешь, где я шлялся. Думаешь, это дело можно без выпивки сладить? Я ж тебе говорил, что мы с Пашкой этим старые кореша, в 12-м году забастовочный комитет возглавляли. С ним и пил, в кабинете. Вспомнили молодость, поговорили... Потому и припозднился, – пояснил своё состояние Василий.

– Толк-то хоть есть какой с тех разговоров? – недоверчиво спросила Лидия.

– Ладно... Ты Лид лаяться-то перестань, – уклонился от прямого ответа Василий и прошёл к умывальнику.

– Есть-то будешь?... Только у меня одна картошка, – уже не так воинственно заговорила Лидия.

– Не, не надо. Я ему чекушку спирта с завода принёс, а у него закуска знатная была... Тушёнка с военного склада. У них в Совете паёк не как у нас, неплохо харчатся. Там я у него и со стола втихаря стянул. На вот, завтра ребят побалуешь, – Василий из кармана пальто достал помятую сдобную булку, пару баранок-сушек и несколько мелких кусочков пилёного сахара.

– Ишь ты. Небось, не только харчи и мануфактуру они там имеют, – Лидия быстро спрятала принесённые мужем гостинцы в буфет – завтра у сыновей будут лакомства, которых они уже наверное с полгода не видели. – Как сходил-то, что там тебе твой Пашка порассказал?

– Да ничего особенного, – Василий подошёл к столу, подкрутил фитиль лампы. – Керосин экономить надо, сказали что да конца месяца больше выдавать не будут.

– Да и шут с ними, лучину жечь будем. Ты не тяни, говори как сходил-то, – Лидия пыталась мужа, ибо надеялась, что он если не для себя, то хотя бы для неё сумеет выхлопотать место в какой-нибудь казенной организации, чтобы и она смогла получать паек – на два-то пайка прожить куда легче.

Василию не хотелось сейчас говорить о своей встрече со старым другом. От выпитого спирта и тяжёлого духа тлевшей в печке буксы у него разболелась голова – хотелось лечь спать. Но жена в его положение войти не захотела и пришлось отчитываться.

– В общем, там Лида дела не будет. Это мне и Пашка объяснил, да я и сам прежде чем его нашёл по коридорам походил, посмотрел и понял – нашего брата туда не допустят, – со вздохом признался Василий.

– Как это не допустят, а сам-то друг твой, как туда пристроился, на спецпаёк, да ещё в кабинете сидит!?! – на бледных щеках Лидии появился нездоровый, лихорадочный румянец.

– Сам-то? Это отдельный разговор. Да и кто он там, мелочь на побегушках, и кабинет то не его. Пойми Лид, там Зиновьев сидит, жидяра, всех своих понаставил. Он же брата моего не знал, и я с ним никогда не встречался, меня он туда не возьмёт.

– Постой, он что туда одних евреев напристраивал? Но ведь друг-то твой не еврей, такой же рабочий, как и ты.

– погоди. Что ты меня всё путаешь, – Василий болезненно поморщился и потёр виски. – Не евреев, а своих, тех, кого он лично знает, работал в подполье, в эмиграции. А Пашка с ним работал, когда «Правду» здесь распространял. Но я ещё раз тебе говорю, он там в Совете никто, а потому помочь не может.

– Никто, а паёк жрёт хороший и семью, небось, хорошо кормит, а мы чуть живы. За что боролись-то? – зло возразила Лидия.

– Ты погоди на него нападать. Он мне дельный совет дал... Ох, голова что-то совсем раскалывается...

Лидия вышла на холод в сени, положила в миску из бочки квашеной капусты, которую заблаговременно запасли ещё в октябре, зачерпнула рассолу...

– Ух, вроде полегчало, – ледяной рассол подействовал на Василия ободряюще.

– Так что за совет-то? – упорно ждала продолжения «отчёта» Лидия.

– Посоветовал не ломиться ни в Петросовет, ни тем более в Совнарком. Там все хорошие места уже поделены. Там все кто вместе с Зиновьевым, Троцким, Радеком, Свердловым, а то и с самим Лениным дружбу водили.

– Так я и думала, пока вы тут бастовали, да с жандармами и казаками бились, они по границам прохладжались, а теперь приехали и на тёплые места сели... Ты бы хоть для меня что-нибудь разузнал, может место какое ... – чуть не со слезами в голосе почти причитала Лидия.

– Брось, какое место. Я же говорю, там все свои сидят, сёстры, жёны, племянницы, любовницы... Ну, и ещё есть там молоденькие из дворянок. Этих к себе любят секретаршами-машинистками брать любители благородных барышень.

– Понятно. Значит, просто так сходил, поел, выпил, семью без хлеба на весь день оставил... – Лидия в сердцах отвернулась, чтобы смахнуть всё-таки выступившую слезу. – Это и есть его совет, чтобы не соваться никуда и тихо с голоду ноги протянуть?

– Да нет. Он как раз дело присоветовал, а ты меня всю дорогу перебиваешь, сказать не даешь. Он говорит, надо инициативу проявить, почин организовать. Тогда заметят и назначат куда-нибудь комиссаром.

– Какой такой почин, о чем ты? – не поняла мужа Лидия.

– Сейчас растолкую. Здесь на заводе делать нечего, никакой перспективы, как стояли, так и будем стоять. Сейчас всё в хлеб упёрлось. Он мне и говорит, организуй сельскохозяйственную комунну землеробов.

– Это ещё что за чушь, каких землеробов? – с некоторой брезгливостью отреагировала Лидия.

– А вот это как раз совсем и не чушь. Это такое дело, об котором нам с тобой стоит крепко подумать. Эту идею не где-нибудь, в ЦК кто-то предложил, вроде даже сам Ильич. Организовать несколько хозяйств нового коммунистического типа из рабочих, на землях конфискованных у помещиков. Это чтобы пример показать всем несознательным элементам в деревне, как можно по-новому, совместно на земле работать. Конечно, главная задача наладить производство и поставку хлеба, поддержать города, рабочим не дать умереть с голода. Вот мне Пашка и говорит, проведи у себя на заводе агитацию, сгноши рабочих на это дело. На него, говорит, и денег дадут и всяческую помощь окажут. А если уже этой осенью в Питер хлеб пришлешь, всё, считай тебя в высшем руководстве партии и заметят, и отметят, дальше двигать начнут. Сейчас ведь голодуха и безработица кругом и людей сагитировать хлеб сеять проще простого ...

10

Лидия полночи не могла заснуть после рассказа мужа. Василий лежал рядом, дыша перегаром, храпел, а она словно ничего не чувствовала, так глубоко задумалась. Лидия, видевшая со стороны вольготную и красивую барскую жизнь, осуждавшая ее, как и положено жене революционера, тем не менее, втайне мечтала о таковой. Она презирала сельский труд и деревенский образ жизни. Но в гимназии она видела, как прекрасно выглядели те помещицьи дочки, что проводили каникулы у себя в поместьях, на хорошем воздухе, сытной свежей пище. Одно дело работать на земле, в поле, ходить за скотом, другое наслаждаться природой, потреблять здоровую пищу, то же молоко из-под коровы, которое кто-то для тебя надоил, но самой не работать. В новой жизни, при новой власти так должны жить советские начальники и их семьи. Стать советской помещицей? А почему бы и нет. Конечно, с родного насиженного места срываться боязно, с другой стороны, сколько можно терпеть эту полуголодную жизнь, видеть страдания детей. А там, если Василий станет руководителем, уж он то обеспечит, чтобы его семья была сыта, а жена не работала в поле...

Утром Василий поднялся с тяжёлым похмельем, пил много рассола и пока он очухивался Лидия кормила и собирала сыновей в школу... О школе тоже подумала Лидия. Та, в которой учились ее мальчишки ей, бывшей гимназистке, совсем не нравилась, но как окажется там, смогут ли ее дети учиться на новом месте. В конце-концов она решила, что если учиться будет негде, она станет учить сыновей сама, чтобы потом они смогли сдать экстерном и за начальную школу, а может быть даже за некоторые старшие классы гимназии, или как там назовут учебные заведения для детей крупных советских начальников. То, что и при советской власти дети разных по положению родителей будут учиться в разных школах, Лидия не сомневалась.

Отправив детей в школу и посадив завтракать мужа, которому некуда было спешить, ибо на завод он приходил к десяти часам, Лидия решила продолжить прерванный неожиданным провалом в сон Василия их ночной разговор.

– Ты знаешь Вась, я подумала насчёт того предложения... ну насчёт сельхозкоммуны. Если это не очень далеко, то тебе можно попробовать возглавить такую коммуну. Тогда бы мы смогли, как при царе буржуи на дачах жить и здесь, и там. Мы бы к тебе туда на лето приезжали, а ты бы нас продуктами снабжал, – вдруг как-то неожиданно для себя, мгновенно Лидия нашла ответ на все мучившие её вопросы: и как не уезжать насовсем из Питера, и не отрывать детей от школы. – А ты бы тоже зимой с оказиями к нам приезжал.

Василий отстранился от еды, и некоторое время тупо смотрел на Лидию. Нет, он не забыл того, что говорил вчера перед сном жене, ему просто был неведом ход ее долгих раздумий и логика суждений, вылившаяся вот в такое фантазёрское решение. Наконец, он полностью «переварил» что она ему толковала:

– Да ты хоть понимаешь, что говоришь, какая дача?! Ты что не знаешь, что в стране твориться!? Везде контра за оружие берётся. Эти в Смольном тоже хотят, чтобы недалеко, чтобы и хлеб иметь, и контролировать случай чего. Если как ты хочешь рядом с Питером обосноваться, они, эти начальники новые, станут туда с ревизиями чуть не каждый день наезжать, с бабами своими на казённых автомобилях, чтобы для себя продукты втихаря вывозить. После них нам и отправлять-то нечего будет. Да и земли тут уж больно плохи, труда много вложить надо, а урожай так себе. Даже картошка больше чем один к четырем редко урождается, а хлеб

тот вообще никудашный, пшеницу и сеять не стоит. Нет Лида, если уж за это дело всерьёз браться, надо ехать отсель подальше и сгношить не меньше нескольких сотен человек, ехать всем сразу с семьями, эшелоном. Только там мы с тобой настоящими хозяевами станем и сами себе начальниками, и чтобы там земля была тучная, хлеб хорошо родился... Есть у меня на примете такое место.

План, в который Василий посвящал жену, родился у него ещё вчера, по дороге из Петросвета домой. Он хотел сразу обсудить его с Лидией, но не смог из-за жуткой головной боли и внезапной «отключки».

– Помнишь, я в восьмом году ездил от завода в командировку в Сибирь с инженером, – продолжал Василий. – Там в одном казачьем гарнизоне пушки, что у нас капитальный ремонт проходили вдруг при стрельбе отказывать стали. В общем, оттуда рекламация пришла, то есть жалоба на завод. Батя твой, как лучший токарь, должен был ехать, но отказался, уж больно далёко, вот меня и послали. Я, значит, токарную работу проверял, инженер по своей части. Через всю Россию почти ехали, поездом до Омска, инженер в первом классе, ну а я, понятно, в третьем. Оттуда на пароходе до Уст-Каменогорска, это такой маленький уездный городишко. Там эти пушки стояли. Мы на месте разобрались, что к чему. Деталька там одна с брачком оказалась, сразу на всех орудиях. А перед отъездом нашего инженера повезли тамошние места показать, ну, конечно, с выпивкой и закуской по дороге. Удивлялся я сначала, зачем он и меня с собой взял, хоть и знал, что не надёжен я. А он меня оказалось, как прислугу какую взял, блюда там всякие подносить-уносить, его, если ужрётся, до каюты дотащить...

– Подожди Вася... Ты, что же в Сибирь надумал ехать, там коммуны организовать? Это ж такая даль, жуть. Потом, что там за люди живут? Наверное, инородцы какие-нибудь? – самисобой родились вопросы у Лидии.

– Русские там люди, рабочие с рудников, крестьяне-переселенцы, казаки сибирские, да кержаки, – пояснил явно не довольный тем, что его перебили Василий. Он так увлёкся рассказом, что забыл о завтраке, который, остывая, стоял перед ним.

– Казаки!? Ты что, разве ж можно туда, они же всегда царю верные были.

– Погоди, не встревай. Я ж тебе говорю, там не одни казаки живут, там и рабочих на рудниках полно и переселенцы тогда валом валили. А казаки они только вдоль реки, Иртыша, в станицах, да посёлках. Рабочие совсем плохо там жили, работали почти как каторжные, а получали втрое меньше против нас питерских. Они там злые на всё на свете и на начальство и на казаков. Но главное там замечательная земля, хлеб растёт, как трава густой, а вкусный какой, без изюма, а как ситный? Я такого никогда не ел. И вообще еды там всякой, во, – Василий чиркнул ребром ладони себе по горлу. – Река Иртыш... какой только рыбы там нет, трава на лугах – выше человеческого роста вырастает. А красотища, особенно в ясный день, не насмотришься. Никогда дотолё гор не видал, а как там посмотрел, до сих пор забыть не могу. Цветы там в горах растут красивейшие, жарки называются, шиповника целые заросли на склонах, ягоду всякую бабы вёдрами собирают, в хорошие годы и арбузы урождаются. С переселенцами разговаривал, они в один голос, как туда переехали, про голод забыли. Там что хлеба, что рыбы, а в лесах какого только зверья, птицы нет, лоси, кабаны, медведи, козлы горные, тетерева стаями. Охотой в основном староверы, кержаки промышленляют. Ну, то тяжёлый народ, тех не сагитируешь, живут богато, соболюют, моралов разводят, пушнину и мёд продают...

– Подожди Вася... Так кто же тебе землю-то там даст под коммуны? Там же помещиков-то поди и не было никогда, у кого землю-то конфисковывать, разве что у казаков, так они ее без войны никак не отдадут, – опасно возразила Лидия.

– В том-то и дело, что ничего ни у кого не надо отнимать. Там возле речки Бухтармы, есть целый кусище отличной залежной земли, принадлежавшей царскому кабинету. Понимаешь?

Я почём про ту землю-то знаю, в то время мужики-переселенцы подавали прошение, что бы ту земельку распахать. Уж больно хороша, да ровная, удобная, и вода рядом, а без пользы пропадает. А им не позволили, сверху бумага пришла, дескать, на царскую собственность нечего рот разевать. А сейчас, царя-то нет, значит, земля эта государственная, советской власти. Вот я и выпрошу в Совнаркоме мандат на нее, и мы туда сразу как законные хозяева приедем...

Для Василия Грибунина наступили хлопотные дни. Сначала он выступил со своим почином на собрании заводской партячейки. Там к нему отнеслись настороженно, но зарубить побоялись, разрешили вести соответствующую работу среди людей. Здесь имел место и корыстный интерес – если часть рабочих, числящихся на заводе, но почти не работающих, ибо производство стояло... Так вот, если сотня другая рабочих да ещё с семьями уедет, легче будет прокормить оставшихся. Таким образом, Василию не помогали, но и не мешали. Днями он пропадал на заводе, ходил по домам, уговаривал рабочих, их жён... К концу февраля ему удалось сколотить больше сотни желающих ехать в Сибирь, на Алтай. У него нашлись единомышленники, но сильнее всех помогал Грибунину голод, который далеко не все могли переносить стойко. А вечером возвращаясь домой Василий проводил ту же «работу» с Лидией. Жена, в общем, морально была готова ехать, только ее пугало расстояние, но и здесь Василий нашёл свои «плюсы»:

– Это же хорошо, что далеко, там мы будем никому не подконтрольны, что захотим то и сделаем. Эх, Лида, да я всегда так хотел, хоть у чёрта на куличиках, но чтобы быть там самым главным, – мечтательно закатывал глаза Василий.

– Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме, – тихо проговорила Лидия.

– Что ты сказала, – не понял Василий.

– Это такое древнеримское изречение, поговорка. Я ее слышала, когда в гимназии латынь учила. Это как раз о том, о чём мы с тобой говорим... Может ты и прав...

И вот, наконец, на общем собрании официально организовали Общество землеробов коммунистов. Увы, в бочку мёда закралась и ложка дёгтя. Хоть все и знали кто выступил с почином и провёл основную организационную работу – Василий Грибунин, он же и написал Устав общества, который отредактировала Лидия... Но когда собрались уже записавшиеся в общество и желающие ехать будущие коммунары, то на этом собрании не его избрали председателем. Грибунину предпочли пожилого бородача, беспартийного Павла Гуренко. Василия же утешили, де ещё молодой, успеешь покомандовать, и определили заместителем к Гуренко. Давно подозревал Василий, что среди рабочих у него много недоброжелателей, многие ему завидовали, шептали за глаза: из грязи в князи без мыла лезет, женат почти на барышне, образованной, с пианиной...

11

Вождь буквально разрывался между прорвой неотложных государственных дел. Ещё четыре-пять месяцев назад, когда ЦК партии готовил переворот, захват власти, он даже приблизительно не представлял, какой это неподъёмный груз, управление полностью расстроенным государственным механизмом огромной страны, уже четвертый год находящейся в состоянии войны. Власть вожделенная, долгожданная, вот она, вот он штурвал, рули как хочешь. Ан нет, как хочешь не получается – страна руля-то почти и не слушается. Если в октябре, казалось, что Советы поддерживают самые широкие массы трудящихся, то сейчас выясняется, что прежде всего эти массы хотят есть, и есть каждый день. И накормить их первейшая, архиважная задача, наряду со скорейшим заключением мира с немцами, мира на любых условиях,

чтобы выйти из войны. Решив эти две задачи можно уже конкретно сосредоточиться на том, чтобы ухватиться за власть крепче, так, чтобы никакие прочие желающие порулить не вырвали. Но вопрос с войной можно решить на переговорах, а вот с голодом переговоры невозможны, здесь надо действовать решительно и на перспективу.

В ближайшее время необходимо накормить хотя бы питерских рабочих, пресечь голодные бунты и волнения в столице и тогда, наверняка, удастся удержать власть во всей стране. Хватило же одного взятия Зимнего дворца и ареста временного правительства, чтобы взять власть. Кто властвует в столице, тот властвует и в стране. Так же и с голодом – сначала надо решить этот вопрос в столице. Но как это сделать? Крестьяне, распропагандированные эсерами, дружно саботируют поставки продовольствия. С другой стороны, конечно, трудно от них хоть и мелких, но собственников ждать, что они за расписки продотрядных комиссаров добровольно отдадут хлеб. Не хотят они понимать, что вся городская промышленность стоит и ничего не может дать взамен. Тут ещё ко всему и паралич транспорта, невозможность подвезти уже собранное и готовое к отправке продовольствие и топливо. Да... продержаться хотя бы до лета, отодвинуть удушающую руку холода и голода, а там видно будет.

Разве думал он, что придя к власти придётся чуть не лично заниматься такими в общем-то мелкими и мерзкими делами как пенсии, пособия, больницы... Да и тот же хлеб, и транспорт. Разве царь всем этим занимался? У него был выкованный столетиями самодержавной власти госаппарат. А у него? Всё старое на слом, а новое, увы, создавать некогда, мешают все эти мерзости, которыми так не хочется, а приходится заниматься. Конечно, статейки в газеты пописывать, или даже заниматься фундаментальными социально-экономическими исследованиями, как тот же Маркс, куда как проще и приятнее, чем ломать голову над тем, чем и как накормить миллионы людей, представляющих сейчас стадо без поводырей. Именно профессиональных «поводырей» под рукой-то и нет. Его соратники, в основном, специалисты не по созиданию, а по дестабилизации, разрушению...

Он так ждал эту инициативу снизу, хоть и не очень в нее верил, но ждал, и вот... На одном из заседаний СНК среди множества упаднических, даже панических высказываний, под которыми явно прослеживались мысли: не пора ли нам паковать чемоданы, прихватить золото, драгоценности, валюту из госхранилищ, и бежать через Финляндию в спокойные нейтральные страны. И вот, наконец, среди всех этих «воплей» он услышал, то что ждал – группа рабочих-обуховцев собирается организовать сельскохозяйственную коммуну для совместной обработке земли и снабжения продовольствием промышленных центров страны. Он сразу согласился принять делегацию обуховцев и оказать им всю возможную поддержку. Ведь это очередной реальный шаг к осуществлению дела всей его жизни, построению нового общества, что пока существовало только в теории.

Грибунину приходилось бывать в Смольном ещё во время октябрьских событий. Он осуществлял связь между обуховской рабочей дружиной и штабом восстания. Но тогда он имел дело лишь с «клерками», и встретить Ленина мог разве что случайно в коридоре. И вот он в составе делегации идёт на беседу с самим вождём.

Ленин принял обуховцев с искренней радостью. До того многие рабочие высказывали неуверенность – как отнесется председатель СНК к их затее, ехать за тридевять земель за казенный счёт. Впрочем, тем что новоявленные землеробы собрались так далеко, вождь тоже выразил удивление:

– А почему, товарищи, вы хотите ехать именно на Алтай? Не лучше ли где-нибудь поближе, под Лугой например, обустроиться? Тут мы бы вам могли, и помощь скорее оказать, и вы бы продовольствие в Питер быстрее доставили...

Вот тут то и наступил «звёздный час» Василия Грибунина. Прочие делегаты как-то оробели, пожалуй, даже были готовы последовать совету вождя, тем более, что кое-кто страшился столь дальнего путешествия. На собраниях Общества Василий сумел убедить большинство рассказами о невероятном плодородии верхнеиртышской земли. Но здесь в кабинете Ленина этого аргумента могло быть и не достаточно.

– Товарищ Ленин... Владимир Ильич, – слегка покраснев от волнения, встал со стула и вышел чуть вперед Василий, намеренно заслонив собой Гуренко, только что как председатель излагавшему вождю планы Общества. – Я бывал в тех местах, там земля не в пример здешней куда плодородней и много залежной, в нее никакого навозу и прочих удобрений вкладывать не надо, и принадлежала она царскому кабинету. Ее можно просто вашим декретом передать нам в пользование и ничего ни у кого не реквизируют. Потому, никаких столкновений с местным населением, ни с мужиками, ни с казаками быть не должно. Ну, а главное, Владимир Ильич, там же наверняка очень мало коммунистов, и люди не знают, к чему их поведут большевики. И мы сознательные рабочие-питерцы поможем тамошнему крестьянству и рудничным рабочим разобраться в текущем моменте, на собственном примере покажем, как надо устраивать новую жизнь, укрепим советскую власть на дальних окраинах России.

Последний аргумент подействовал сильнее всего – вождь с интересом выслушал, доброжелательно кивнул Василию и спросил:

– А сколько всего рабочих выразило желание ехать и много ли среди них коммунистов?

– Более ста семейств. Всего с детьми будет около пятисот человек. Коммунистов двадцать шесть человек, но в основном в партии недавно, в 17-м году, или после Октября уже вступили. Таких как я, со стажем подпольной борьбы при царизме нет, – это сообщение Василий хотел сделать более всего, и дождался таки удобного момента, сообщение о его партийном и подпольном стаже прозвучало и к месту, и весомо.

– Вот как... А вы, товарищ, с какого года в партии? – не мог не заинтересоваться вождь.

– С тринадцатого. Мой старший брат меня привёл к борьбе. Он в вашем кружке занимался, а до того в воскресной школе у вашей супруги учился...

Результатом встречи обуховцев с председателем Совета Народных Комиссаров стало то, что в распоряжение коммунаров выделили 200 палаток, походную хлебопекарню и пульмановские вагоны первого класса для путешествия по железной дороге. В записке написанной Лениным народному комиссару земледелия и председателю Петросовета указывалось всячески содействовать коммунарам. Ну, а Василий Грибунин в глазах сотоварищей после той встречи стал чем-то вроде лица наделенного особым доверием самого вождя мирового пролетариата. И хоть председателем официально оставался Гуренко, но на первые роли вновь вышел Василий.

Мероприятия по подготовке к отправке было организовано с размахом, освещалось в советской печати. Подчёркивалось, что рабочие поедут именно в пульмановских вагонах, в которых до революции только буржуи ездили. На платформы грузили хлебопекарню, полевые кухни, на складе бывшего императорского фарфорового завода реквизировали и привезли в ящиках посуду. Лидии сразу же нашлась штатная должность. Она в 14-м году окончила курсы сестер милосердия и даже недолго проработала в военном госпитале. И хоть она давно уже никого не лечила, да и немного умела по медицинской части, тем не менее, возглавила мед-

часть комунны. Она же приняла участие в конфискации в частных аптеках лекарств и медицинских инструментов. В день погрузки с завода пришли четверо рабочих и под руководством Василия с предосторожностями погрузили пианино. Без него Лидия отказывалась ехать, ибо на новом месте хотела осуществить свою мечту гимназических лет – стать влиятельной дамой, а пианино в ее мечтах играло роль необходимого атрибута, подчёркивало ее статус. Сыграло свою роль и то, что Василий знал о том, как Ленин с собой в сибирскую ссылку также через всю Россию повёз пианино, и там в глуши они с женой и тещей могли наслаждаться музыкой. А Ленина Василий боготворил, особенно сейчас, после той памятной встречи.

Грузились днём при стечении народа под вспышки фотокамер. А ночью, в крытые вагоны, выставив посты, в тайне грузили оружие, сто винтовок, пулемёт и боеприпасы. Знали, что нетвёрдо ещё стоит советская власть в отдалённых областях и губерниях. Также в тайне привезли опечатанный денежный ящик, со средствами, что были выделены СНК и пожертвованы в общую кассу членами Общества и другими обуховскими рабочими. Выезд приурочивали, дабы доехать до Алтая к началу посевной, чтобы уже этой осенью отправить в Петроград первый эшелон с хлебом...

Выполнить задачу поставленную вождём, расшибиться в лепешку, но выполнить – иного не мыслил Василий Грибунин. По делам Коммуны он несколько раз за короткое время бывал в Смольном, согласовывая различные вопросы. Проходя по длинным коридорам бывшего Института благородных девиц, он не переставал удивляться, сколько в «штабе революции» осело нерусских людей. Особенно бросались в глаза своей внешностью евреи и армяшки (так чохом именовали в Питере всех кавказцев). Ему даже показалось, в какой кабинет не зайти, везде они присутствуют. Василия это злило, но в то же время наводило на мысль, что для общения с теми же рабочими, или деревенскими мужиками, их агитации, советская власть этих чернявых деятелей вряд ли сможет использовать. Вылези такой на трибуну и хоть что скажи – не поверит ему простой люд. Вот тут-то и понадобятся такие, как он. Разве можно во главе той же Коммуны поставить какого-нибудь еврея? Все же знают, что они и за станками сроду не стояли, и землю никогда не пахали.

Но Ленина Василий, в том, что окружил себя нерусскими, не винил, понимал, что среди русских пролетариев-революционеров мало по настоящему грамотных людей, а без образования руководить страной нельзя. Вот и приходится нерусских привлекать, которые от старого режима страдали. Но он не сомневался – это всё временно, не может такого быть, чтобы ответственные советские работники, этакое новое дворянство, состояли в основном из евреев и армяшек. Нет, эту роль Грибунин отводил в основном таким как он, ибо как и жена не верил во всеобщее равенство. Всегда мир на том и стоял, что кто-то командовал, а кто-то подчинялся, выполнял команды, работал. Был царь, теперь Ленин, теперь он царь, а царю нужны приближённые облечённые его доверием, то есть своё дворянство, как бы оно не называлось. И своё место в той советско-дворянской среде надо не упустить. Пусть эти здесь в Петрограде заполнили Совнарком и Петросовет, он с другой стороны подлезет, оттуда, из Сибири. Выполнить задание вождя, спасти Петроград от голода и Ленин его приблизит, вознесёт, высоко вознесёт...

Через две недели поезд с коммунарами прибыл в Семипалатинск и был встречен руководством местного Совдепа. Семипалатинские коммунисты всячески хорохорились, уверяли что власть держат прочно, но Грибунин навёл справки, узнал что местный Совдеп взял власть всего месяц назад, да и то благодаря военной помощи из Омска. А до того тут четыре месяца имело место противостояние Совдепа и губернского земского собрания, которое опиралось на

местных казаков. Но и сейчас, когда земское собрание, наконец, разогнано, советская власть дальше здания Совета и рабочих предместий на левом берегу Иртыша фактически не распространялась. Город же, как, видимо, и вся огромная по территории область жили сами по себе: купцы торгуют, как и торговали, в гимназиях учат, как и учили по старым программам, офицеры распушены по домам, но не разоружены, так же как и казаки. Казаков, что сразу бросалось в глаза, местные коммунисты ужасно боялись и довольствовались тем, что те в большинстве своём пока что держали нейтралитет. Вообще обстановка сложилась странная, как будто существовала какая-то негласная договоренность: мы вас не трогаем, и вы нас не троньте.

Коммунаров устроили жить в здании бывшего окружного суда, и чувствовалось, хотели как можно скорее отправить, сбыть с рук. Но Иртыш, по которому предстояло плыть дальше, еще не очистился ото льда. Увы, в Семипалатинске также существовать за счёт реквизиций не получилось. Хоть и относительно дешёв был здесь хлеб, но прокормить полтысячи человек... Средства Общества на это тратить не хотелось. Обратились в Совдеп за помощью. Там объяснили, что хлеб есть, сколько угодно, но он на складах принадлежащих местным богатым-купцам. Покричал Василий на этих горе-большевиков, посовестил, привёл в пример Петроград, где все буржуи давно уже и собственности лишены и на «голодный паёк» посажены, потому последние фамильные меха с бриллиантами продают. А здесь до сих пор и склады, и пароходы, и магазины у них.

Поругались крепко, но на реквизицию Совдеп не решился. С купцами договорились, те и сами хотели поскорее спровадить «гостей» из города, потому согласились снабдить питерцев продовольствием подешевле. Совдеп же, дабы произвести впечатление на посланцев Ленина, организовал выпечку особых свежих караваев, которые и были преподнесены коммунарам в торжественной обстановке. Действительно столь пышных и высоких хлебов большинство питерцев в жизни не едали. Такие получались только из верхнеиртышской пшеницы. Коммунары вволю ели этот невероятно вкусный хлеб и вспоминали Петроград с его нормированной осьмушкой низкого качества. А Василий тут же не упустил возможности выступить в поддержку своего выбора места основания коммуны:

– Во, теперь какой хлеб есть будем, и сами отъедемся, и Питеру поможем!

В Семипалатинске стало очевидным, что Гуренко как председатель не состоятелен. Местные коммунисты не шли на контакт с беспартийным, и все вопросы решали с Грибуниным. Незадолго до отплытия Василий спровоцировал перевыборное собрание и на этот раз подавляющим большинством был избран председателем. Таким образом, когда закопченный пароходик вверх по Иртышу потянул сцепку из двух барж с коммунарами и их имуществом, Грибунин уже являлся официальным главой Общества, своего рода Данко, ведущий народ к счастью и процветанию. Впрочем, о Данко Василий не читал, о нём ему рассказала Лидия, в юности очень увлекавшаяся Горьким. Да он и не походил на горьковского героя, отдавшего свою жизнь за счастье других.

Василий организовывал коммуны, в которой собирался стать первым лицом и, используя свою власть, прежде всего устроить сытую и безбедную жизнь для своей семьи. За что боролись? Чтобы место имущих классов старой России заняли революционеры-эмигранты!? Ленина Василий с его окружением не отождествлял, но не сомневался, что рядом с ним должны стоять не Троцкий, Зиновьев и им подобные, а такие как он, те кто здесь в России непосредственно боролись с царизмом, они в первую очередь должны иметь власть и жизненные блага. Лидия так долго внушала ему это, что Василий в конце-концов стал считать, что он всегда так думал...

12

Жизнь в Усть-Бухтарме как бы замерла в ожидании. Большинство вернувшихся фронтовиков были настроены пацифистски, ставили свечки в церкви за то, что остались живы и всю жизнь наслаждались мирной семейной жизнью, истинную цену которой познали только пройдя фронт. Потому агитация Степана Решетникова даже на его однополчан особого впечатления не произвела – они не хотели идти воевать ни за какую власть, ни за старую, ни за новую. Тем более, что новая власть в Бухтарминском крае так и не появилась и не могла никого по настоящему обидеть-разозлить. Усть-каменогорский уездный Совдеп реальной силы почти не имел и единственно, что мог, так это спустить в горную часть уезда телеграмму, предписывающую создавать на местах станичные и сельские Советы. Тихон Никитич созвал в правлении сбор выборных стариков, зачитал указание новой уездной власти. Порешили погодить, но на всякий случай составили списки самоохранных сил, произвели опрос всего казачьего населения, кто и с каким оружием готов выступить на охрану станицы. Как и положено, шашки по домам имелись у всех, а вот с винтовками обстояло хуже, трёхлинейки были только у вернувшихся со своим оружием первоочередников из 3-го полка и второочередников из 6-го, находившихся в послеоктябрьский период на территории Войска, которых распустили не разоружив. А вот третьоочередники, пришедшие вместе с Иваном, в основном лишились своих винтовок в Ташкенте. На станичном же оружейном складе в крепости имелись лишь однозарядные берданки и некоторый запас патронов.

В деревнях, напротив, большинство крестьян-новоселов с энтузиазмом встретило «пришествие» новой власти, избирали сельсоветы и председателей. Но среди этих председателей оказалось немало бывших старост и они, люди как правило опытные, сумели убедить односельчан, а главное тех же пришедших с войны фронтовиков, не спешить выполнять все команды с уезда, а тоже немного переждать – власть-то она там у себя в уезде пусть верховодит, а сюда в горы пока не поднялась... В общем, даже в деревнях красных флагов почти нигде не вывешивали, ибо в долговечность большевиков пока мало кто верил.

В один из апрельских ранних вечеров, когда Полина пришла после школьных занятий, отец, который обычно допоздна засиживался в правлении, на этот раз непривычно рано оказался дома. Он подал её письмо:

– Из Семипалатинска, от Лизы Хардиной...

С отцом Лизы Ипполитом Кузмичём Тихона Никитича связывала не только дружба, но в первую очередь тесные деловые отношения. Значительная часть богатства атамана Фокина, как и немалая часть капиталов купца Хардина были созданы благодаря этой тесной дружбе. Тихон Никитич содействовал приказчикам купца в скупке в Усть-Бухтарме, подчинённых станице казачьих посёлках и окрестных деревнях наилучшей сортовой пшеницы, и отправке её с Гусиной пристани на пароходах, также принадлежавших Хардину в Семипалатинск. Там она ссыпалась на его же склады-элеваторы, дожидалась когда цены на зерно пойдут вверх, и уже по железной дороге шла в Россию или за границу. Поэтому в том, что Полина проучилась восемь лет в семипалатинской женской гимназии, и все эти годы жила в доме Хардина, и дружила с его дочерью, не было ничего необычного...

Лиза писала в основном о всяких пустяках, общих знакомых, сетовала что в городе с приходом к власти Совдепа почти не стало никаких развлечений. Тем не менее, жизнь в област-

ном центре течет, как и прежде, особых изменений нет, сама Лиза продолжает преподавать в начальной школе. Потом Лиза расспрашивала Полину о женихе и предстоящей свадьбе, про которую была в курсе из её письма, отправленного где-то месяца полтора назад. У Лизы тоже был жених-офицер, поручик, который погиб ещё в 15-м году на фронте. Но, судя по последним письмам, она уже давно отгоревала по нему и сейчас почти не вспоминала. В конце письма подруга сообщала, что в город прибыл эшелон из Петрограда, на котором приехали какие-то коммунары. Совдеп обратился к ее отцу с просьбой продать питерцам недорого хлеб, что тот и сделал, и со дня на день их собираются пароходом отправлять вверх по Иртышу, куда-то как раз в район Усть-Бухтармы, где они и собираются вроде бы обосноваться...

Полина мысленно обругала подругу за легкомыслие – о самом важном написала вскользь и в конце. Она не на шутку встревожилась и сразу же сообщила сведения о коммунарах отцу. Но Тихон Никитич и сам был уже в курсе, потому как с той же почтой получил депешу и от Ипполита Кузмича, в которой тот конкретно описал всё, что знал о коммунарах, их председателе Грибунине, подбивавшим местный Совдеп реквизировать у него хлеб, но в конце концов вынужденный за него заплатить. Так же купец сообщал, что у коммунаров вроде бы есть мандат, подписанный самим Лениным, о передаче Коммуне большого участка залежной земли, не далеко от Усть-Бухтармы, бывшей собственности Кабинета Его Императорского Величества. Тихон Никитич сразу понял о какой земле идёт речь, впрочем как и дочь.

– Папа... это же царская земля, которая за Васильевкой на берегу Бухтармы, верно? Как же они посмеют ее занять? – ещё с неосознанной до конца тревогой спросила Полина.

Тихон Никитич ничего не ответил, отвернулся бормоча что-то себе под нос, как бы не для кого конкретно:

– Ох задушит, затянется эта петля. Много бы я дал, чтобы отказаться от этого атаманства. Ох, боюсь большая беда идёт... Что ты говоришь Полюшка?... А, как посмеют? Да, вот так и посмеют. Царя то нет, Керенского тоже, так что получается вместо них сейчас Ленин, значит и земля та его. А земля хорошая... никому ее не выделяли, а какие люди на нее зарились. Вот дождались, голытьба питерская владеть будет. И что тут делать, ума не приложу. Не препятствовать? А если большевиков скинут не сегодня завтра? Спросят, почему не противодействовал варнакам монаршью собственностью захватывать?... Полюшка, ты как? Присоветуй что-нибудь?

Тихон Никитич прислушивался к дочери, хоть и не одобрял барские замашки, приобретенные ею за время жизни в Семипалатинске. Не одобрял, но мирился с ее увлечением верховой ездой, ее лыжными прогулками, манерой одеваться. Но в отличие от жены, которая почти не вникала в его атаманские дела, в дочери он чувствовал пылкий, гибкий ум, доставшейся, как он считал, ей от него. Однако сейчас и дочь лишь растерянно пожала плечами – ведь ее голова была занята в основном совсем иными заботами.

Когда вечером к ним как обычно пришёл Иван, Тихон Никитич его позвал в комнату, которая выполняла функции одновременно и его кабинета и библиотеки: письменный стол, а вокруг шкафы с книгами и подписными журналами. Он рассказал ему о коммунарах и тоже попросил высказать своё мнение:

– Ты ж Вань много поездил, повидал в последние годы, и большевиков там видал. Присоветуй Вань, как лучше поступить.

– Не знаю Тихон Никитич, что и сказать. Да вы ведь всё одно сделаете, как сами решите. Подождать, думаю, надо, как приедут посмотреть, что за птицы, и как вести себя будут.

Иван ответил уклончиво, чтобы не обижать будущего тестя, но и сам осознавал очевидное – власть станичного атамана сейчас такая зыбкая не только потому, что в области и уезде сидят большевики, но и по причине того, что большинство вернувшихся в станицу казаков-фронтвиков уже вряд ли будут так же послушны станичному атаману, как до войны. Они там успели вдохнуть одуряющий воздух анархии, всё более воцарявшийся в стране уже второй год. Их мог теперь собрать и повести на какое-нибудь дело только командир, прошедший с ними фронт, о котором ходили героические легенды. О таком командире Иван услышал от брата, о славе, которая ореолом окружала молодого есаула Бориса Анненкова, рассылавшем своих эмиссаров по станицам Сибирского казачьего войска. Сам Степан верил в Анненкова беззаветно, как в Богом данного вождя. Степан не привёз с собой в станицу ничего, что положено казаку возвращавшемуся домой: подарков родителям, родным. Явился оборванцем с котомкой... но в котомке было несколько прокламаций подписанных Анненковым. В листовке были такие слова: «... Казаки, не верьте большевикам-коммунистам! Это предатели русского народа и казачества, присланные на деньги германского генштаба... Складируйте оружие, боеприпасы, продовольствие и ждите сигнала к восстанию... Час освобождения близок. Да здравствует свободная Россия!

Атаман Анненков.»

В какие атаманы произвёл себя есаул, какая свободная Россия, кто за ним стоит? Много вопросов возникло у Ивана. Впрочем, он как и большинство станичников-фронтвиков уже успел, что называется, с головой окунуться в мирную жизнь и не имел ни малейшего желания возвращаться к походно-фронтвой. А вот что его беспокоило, как бы все эти прокламации и призывы не помешали посеять, вырастить и убрать урожай... и конечно, же обвенчаться с Полиной.

Тем временем баржи с коммунарами кое-как дотащились до уездного Усть-Каменогорска. На питерцев и Семипалатинск произвёл удручающее впечатление – жалкий, в основном одноэтажный деревянный и саманный городишко на стремительной, мутной реке. Со всех сторон его окружали унылые солончаковые степи. Плодородной была только узенькая полоска пойменной земли на правом берегу. Зимой здесь свирепствовали снежные бураны, летом их сменяли песчаные бури. Коммунары с удивлением спрашивали Грибунина:

– И где же ты тут нашёл много земли годной для хлебопашества?

– Погодите, вот по Иртышу поднимемся, там в горах совсем другая природа, – уверял Грибунин.

Усть-Каменогорск как раз и располагался на самом краю степи у подножия гор, но тоже оказался ужасной дырой, только в несколько раз меньше Семипалатинска. Про этот городишко коммунары знали лишь то, что советская власть здесь стояла где-то около двух месяцев, и примерно того же «качества», что и в Семипалатинске. Почти во всём уезде, кроме рабочего посёлка Риддер, административное управление осуществлялось старым аппаратом. В самом городе ещё в феврале местные красногвардейцы не смогли даже арестовать бывшего атамана 3-го отдела генерала Веденина, которого отбили казаки. С тех пор местные красногвардейцы на свободу атамана больше не решались покушаться и вообще в казачьи станицы старались не соваться.

Коммунары, сойдя с барж и походив по городу, убедились, что хоть в этом городишке и нет столько богатых купеческих особняков как в Семипалатинске, зато... зато на маленьких улочках в центре деревянные тротуары и несколько калильных фонарей. И что особенно бро-

силось в глаза – город в основном населён мещанами, или как их здесь называли чолдонами, которые жили в домах с палисадниками и огородами. Вообще Усть-Каменогорск показался куда зеленее областного центра. Как таковой рабочий класс, опора советской власти, здесь почти отсутствовал. Но в то же время именно здесь коммунары воочию убедились, что Грибунин им не врал – место это очень богато как хлебом, так и прочими продуктами, и цены на некоторые из них здесь просто смешные. Это они осознали посетив местный рынок, так называемый Сенной базар. Такого обилия провизии, выставленной на продажу, питерцы не видели, наверное, уже с довоенных лет. Поражало большое количество частных торговых, предлагающих всевозможное печево: ватрушки, булки, лепёшки, пряники...

Коммунары проехали всю страну и столько мучных изделий не видели нигде. Удивленно смотрели питерцы и на спустившихся с гор кержаков в домотканых зипунах – шабурах, в широких холщевых штанах – чембарах, в самодельных войлочных шляпах, с длинными бородами. Они продавали мёд и топлёное масло прямо деревянными бадьями. Тут же были привязана к ограде граничащего с базаром городского сада всевозможная скотина: коровы, телята, лошади, овцы, козы... И главное, всё это по сравнению с Семипалатинском, не говоря уж о Питере стоило не дорого. Причём здесь брали почти все деньги, имевшие хождение в России, и николаевские и керенки. А за золотые импералы и полуимпералы предлагались большие скидки при покупке.

Пожалел Грибунин, что купил продовольствие в Семипалатинске, здесь бы оно ему обошлось куда дешевле. Сам себя корил, ведь мог бы догадаться, что чем выше поднимаешься по Иртышу, тем дешевле продукты, и всё равно дал уговорить себя Гуренко, который взбаламутил многих своими страхами: а вдруг дальше ничего не будет, и с голоду перемерём. Недобрыми матерными словами помянул Василий и семипалатинских коммунистов, даже заподозрил их в сговоре со своими купцами. На Сенном рынке коммунары уже покупали продовольствие без помощи местного Совдепа, да и не мог он им ничем существенным помочь. Так прямо и сказал Грибунину в личной беседе председатель Яков Ушанов.

13

Не произвёл на Василия впечатления глава местной советской власти. Какой-то маленький, говорит тихо и уж очень молод. Двадцать три года и уже на должности председателя Уездного Совдепа. Возраст Ушанова неприятно поразил Грибунина. Чтобы человек моложе его на целых двенадцать лет, такой же, а то и более малограмотный, чем он, выбился в руководители хоть и захолустного, но по всему богатейшего уезда. К тому же, он для Грибунина становился хоть и номинальным, но начальником, именно ему он должен отчитываться о работе Коммуны, и через него держать связь с областью и Питером. И происхождение у Ушанова для большевика не очень подходящее. Мещанский сын, который под стол пешком ходил, когда он стачки организовывал, в Крестах сидел, царский трон раскачивал – и его начальник. Впрочем, вскоре Василий перестал завидовать Ушанову, ибо за несколько дней нахождения в Усть-Каменогорске понял, что положение молодого председателя совсем не завидное. В той же личной беседе Яков ему откровенно будто старому товарищу жаловался, и не то, что не предлагал никакой помощи... сам ее просил. Он просил остаться в городе и помочь организовать настоящий боеспособный отряд красной гвардии:

– Понимаешь, товарищ, как на бочке с порохом живём. Здесь кругом станицы казацки, там зреет заговор, а у нас никакой серьёзной воинской силы. В областной Совдеп телеграфирую, а оттуда – ищите собственные резервы. А какие тут у нас резервы? Здесь ни заводов, ни

фабрик крупных нет, крестьяне и чолдоны к нам не идут. Кое как сто человек в красногвардейский отряд наскребли. Разве с такой силой удержать город, я уж не говорю про уезд. В Риддер телеграфировал, думал оттуда рабочие на помощь придут, а там какая-то анархия царит, коммунистов не слушают, какие-то местные руководители объявились. Из Зырянска тоже помощи не дожидаться, им через горные казачьи станицы целых двести с лишком вёрст идти. Не знаю, что и делать, не слушаются здесь нас совсем. Две недели назад издал указ о сдаче всего наличного огнестрельного оружия. Ну и что? Принесли несколько самопалов неисправных. А ведь в станицах у казаков в каждом доме по винтовке или револьверу, а то и по несколько. У нас полгорода охотники, дома ружья имеют, от самодельных до заграничных двустволок. С тех ружей медведя с одного выстрела валят. Оружия и в городе, и в уезде полно, и ежели оно против нас повернётся, с нас тут пух да перья полетят как с косачей. И там в горах, дорогой товарищ, тяжко вам придется. Казаки да кержаки, им советская власть совсем без надобности, они и без нее неплохо тут жили. И ведь у них у всех оружие имеется. У казаков с фронту, а у кержаков хоть и старые ружья, самодельные, кремневые, но силы страшной, знаешь, такие с березовым прикладом и шестигранным стволом, а на конце такое расширение, раструб. С того ружья они такими пулями стреляют, что тому же медведю сразу полбашки сносят... И мужики-новосёлы, там в деревнях, ещё агитацией не охвачены, забитые, всего нового боятся. Так, что лучше вам сейчас туда не ездить, а здесь остановиться. Жен ваших, детей мы тут определим, обустроим, а мужики пусть нашему отряду помогут. Вместе мы тут власть удержим, а ежели дальше поедете, порознь пропадем... Я так мыслю...

Грибунину стало откровенно жаль этого, явно попавшего не на своё место парня, вчерашнего фронтовика, увлекшегося там большевистскими идеями, вступившего в партию, прошедшего краткосрочные курсы в Питере и присланного оттуда на Родину устанавливать советскую власть. Посмотрев на прочих членов уездного Совдепа, Василий догадался, каким образом самый молодой из них оказался председателем, хотя остальные были далеко не юнцы. Они его, холостого, неопытного просто выставили впереди себя в качестве заслона, а может быть даже козла отпущения, свалив на его узкие плечи основную ответственность, работу, риск быть убитым где-нибудь на митинге, или расстрелянным в первую очередь при перевороте. Что, разве тридцатилетний полный георгиевский кавалер двухметрового роста, с громовым голосом, бывший унтер-офицер Беспалов не мог стать председателем, или выходец из народных учителей, бывший прапорщик Машуков, самый грамотный из всех, не мог возглавить Совдеп? Или тот же Семен Кротов, хитрец, прошедший всю войну в тыловых снабженческих частях, но и там умудрившийся стать большевиком? Скользкий тип, но опытный семейный тридцатилетний мужик, он бы наверняка более разумно и умело руководил Совдепом. Нет, в такой шаткой ситуации никто из них не захотел, случай чего, остаться крайним, сунули вперед вот этого губошлёпа...

– Да нет, товарищ Ушанов, не могу я здесь у вас остановиться, не имею права. И ты эти свои пораженческие настроения брось, собери актив, ещё раз свяжись с Риддером, объясни так же как мне объяснил свое положение, пусть проявят солидарность и сотню-другую рабочих с рудников вам пришлют. А нам, товарищ председатель Совдепа, задача самим товарищем Лениным поставлена, и мандат им подписан на распашку бывшей царской земли. Понимаешь ты, самим Лениным, – тряс пальцем перед носом печального председателя Василий.

– Да, понимаю я всё. Вот давно уже телеграмму получил, читай, – Ушанов через стол подал бланк с телеграфной лентой наклеенной на коричневой обёрточной бумаге.

«Петроград в небывалом, катастрофическом положении. Хлеба нет. Населению выдаются остатки картофельной муки, сухарей. Красная столица на краю гибели от голода. Контрреволюция поднимает голову, направляя недовольство голодных масс против Советской

власти. Только принятие всех мер по немедленной погрузке и экстренному продвижению продовольственных грузов можно спасти, облегчить положение. Именем Советской Социалистической Республики требую немедленной помощи Петрограду. Не принятие мер – преступление против Советской Социалистической Республики, против мировой социалистической революции. ... Предсовнаркома Ленин. Наркомпрод Цурюпа.»

Прочитав телеграмму, Василий непроизвольно испытал чувство «сосания под ложечкой», будто и сам был сильно голоден. Выходит, за то время, что они ехали из Петрограда, положение с продовольствием там ещё более ухудшилось. В то же время он испытал и определённое удовлетворение. Ведь получалось, что они поступили верно, не оставшись там «дождаться от моря погоды».

– Ну вот, а ты говоришь оставайтесь? – кивнул на телеграмму Василий. – Там в Питере хлеба ждут, сам Ленин ждёт, а ты мне предлагаешь вместо того, чтобы выполнять его задание, помогать тебе тут власть удерживать. Нет, товарищ Яков, у меня другая задача, и я с ней должен справиться, на то я и большевик. Ты вот сейчас можешь хоть один пароход хлеба собрать и отправить?

– Какой пароход! Все капитаны это сплошь контра, ни на кого положиться нельзя, – в отчаянии махнул рукой Ушанов. – Да и хлеб он на складах у купцов-хлебобороговцев, под ихней охраной. Его без бою никак не взять. Даже если попробуем, казаки нам тут же в тыл ударят. А казаки это сила, и оружие у них по домам, и в каждой станице офицеры есть, я уж не говорю про вахмистров и урядников, все фронтовики, это тебе не фунт изюму.

– А ты не паникуешь, может и не станут казаки за купцов вступаться, за их хлеб головами рисковать? – ехидно спросил Василий.

– Нет, не паникую, – Ушанов из ящика письменного стола достал небольшой лист бумаги и положил ее перед Грибуниным. То была листовка, призывающая граждан прятать оружие и ждать сигнала к выступлению против советской власти. Внизу вместо печати был изображён щит с крестом. – Видал, в городе действует подпольная контрреволюционная организация, Союз стального щита. Известно, что руководит ею казачий офицер, войсковой старшина Виноградский. Чтобы с ними бороться, нужна особая организация. Я слышал в Питере и других крупных городах созданы чрезвычайные комиссии для борьбы с такой контрой, а у нас это нет просто сил. Вот я и подумал, чтобы вы, сознательные питерские революционеры, сначала оказали нам помощь...

Из Совдепа Василий вернулся на баржи в плохом настроении. Всё, что сообщил Ушанов, ему очень не понравилось. Тем не менее, он решил в Усть-Каменогорске не задерживаться и как можно скорее следовать дальше. Единственное, чем он согласился помочь, взять с собой нескольких местных активистов, подбросить их до Гусиной пристани и там, если получится, оказать им содействие. Это были в основном солдаты-фронтовики, уроженцы горной части уезда, вступившие в партию, так же как и Ушанов, что называется, в окопах или после Октября прошлого года. Они собирались «комиссарить» в новосельских деревнях. Ни в казачьи станицы, ни в кержацкие села для агитации и установления советской власти ехать никто не решался.

Когда на пароходик, наконец, загрузили в нужном количестве дрова, баржи тронулись дальше вверх по Иртышу. Степь кончилась, реку с двух сторон теснили рыжие громады гор. Течение было столь сильным, что пароходик буквально из последних сил перевозмогал реку. Таким черепашим темпом шли почти сутки. Но на рассвете следующего дня горы «расступились», река стала шире, течение слабее, глазам коммунаров открылась Долина. После без-

лесной бурой степи и почти голых скал здесь обнаружился совсем иной, обжитой, обустроенный мир. В первую очередь «обжитостью» отличался правый берег. Там чернели аккуратные, местами уже свежевспаханные поля, жёлтые стога прошлогодней соломы, махали «крыльями» мельницы. Проплыли ещё с час, и с той же стороны, но не на берегу, а чуть вглубь показалась сначала церковная колокольня, а потом вся большая станица Усть-Бухтарма. Тут же сильный поток впадающей в Иртыш Бухтармы, а за ней на заметном возвышении небольшое селение, Гусиная Пристань.

14

На Гусиную пристань коммунары прибыли, как подгадали, к первому мая. Медленно ползущие против течения огромные баржи и пароходик заметили уже давно, потому на пристани собралось немало народа. Встречавшие угрюмо молчали. Грибунин сошёл первым, к нему сразу подошёл среднего роста, плотный пожилой казак в сапогах и шароварах с алыми лампасами, в чекмене и фуражке, но без погон.

– Станичный атаман Фокин. С кем имею честь? – представился и тут же задал вопрос представитель местной власти.

– Председатель общества землеробов-коммунистов Грибунин... Вы получили распоряжение из областного и уездного Совдепов оказывать нам содействие по обустройству? – сразу решил поставить этого старорежимного служаку на место Василий.

– Да... телеграмма была... Но, видите ли... – хотел что-то объяснить атаман.

– Тогда, вот наш мандат, – Василий решил не вступать в дебаты с казачим атаманом, которому, видимо, командовать здесь осталось совсем недолго.

На них смотрели и с баржи, и с берега, и Василий чувствовал себя всемогущим посланцем самого Ленина, как будто забыв, что от Питера его отделяют три с половиной тысячи вёрст и советская власть даже в уезде держится, что называется, на «честном слове», а здесь и вообще не знают, что это такое... Атаман прочитал мандат и подтверждающие документы из Семипалатинского и Усть-Каменогорского Совдепов.

– Ну что ж господа, раз нынешние областные и уездные власти вам дали добро, действуйте, – атаман, явно обиженный высокомерным тоном гостя повернулся, собираясь идти прочь, всем видом показывая, что его все эти дела мало заботят.

– Господин атаман, я бы хотел попросить вас помочь нам приобрести прямо здесь лошадей и подвод, чтобы доехать и довести наше имущество до места назначения, – видя негативную реакцию атамана, Грибунин сообразил, что показывать гонор и ссориться с казаками ещё не время и перешёл на примирительный тон.

Но атаман не выказал «встречного» желания:

– Видите ли, господин председатель, когда вас сюда посылали, с нами не советовались, потому прошу меня извинить, но ни мешать вам, ни содействовать я не буду. А что касается лошадей и подвод... Среди этой толпы есть жители близлежащих деревень, договоритесь с ними. Но сразу предупреждаю, лошади у нас тут недешевы, дороже чем в Семипалатинске. И у меня к вам тоже будет просьба, чтобы ваши люди не разбредались и не ходили через реку в станицу. Это в интересах вашей же безопасности. И ещё, постарайтесь поскорее разгрузиться и очистить пристань, вы не даёте возможности причалить другим пароходам.

Василий, поняв, что местная власть ведет себя выжидающе, вновь решил взять инициативу в свои руки. Видя, что посмотреть на коммунаров стекается всё больше народу, он решил с ходу организовать митинг. Разгрузка шла своим чередом, а коммунисты-активисты с высоты дебаркадера обращались к собравшимся местным. В выступлениях рассказывали о событиях произошедших в Петрограде после Октября прошлого года, о революции, диктатуре пролетариата, о национализации собственности капиталистов и помещиков... Но почти никакой реакции кроме смешков и недоверчивых взглядов они в ответ не услышали. Затем кто-то из толпы выкрикнул:

– Насчёт земли лучше растолкуй!

Стандартный большевистский ответ, что вся земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, явно не удовлетворил собравшихся крестьян-новосёлов. Их больше всего интересовало, будет ли перераспределяться казачья земля, а помещиков, про которых привычно долдонили приезжие ораторы, здесь отродясь не было. Задать вопрос напрямую они побаивались, потому что за всем внимательно следили, собравшиеся чуть поодаль не мешаясь с крестьянами, станичники. Сами агитаторы, не разбиравшиеся в местных взаимоотношениях, так и не поняли «глубокого» смысла вопроса о земле.

И ещё одно неутешительное открытие сделал для себя сам Василий Грибунин. Из всех собравшихся местных крестьян, бедняков, судя по одежде, насчитывалось совсем не много. Ленин же напутствовал, что надо в первую очередь опереться на сельскую бедноту, ибо она более других недовольна старым режимом. И по пути, пока ехали железной дорогой, и в Семипалатинске, он этой бедноты видел немало, в Усть-Каменогорске намного меньше, а здесь...

Казачки в основном смотрели на коммунаров с усмешками, некоторые не скрывали откровенной неприязни. Ну, это и понятно, у них у многих на фронтовых гимнастёрках кресты и прочие царские знаки отличия. Настораживало, что почти все они с оружием, самое малое с шашками, но у многих и карабины за плечами, есть и офицеры с револьверами в кобурах. Если бы атаман дал им команду... Но атаман, вообще как будто самоустранился и непонятно насколько он здесь владеет ситуацией. Что больше всего обескуражило председателя коммуны, так это явное недоверие и настороженность в глазах крестьян, столыпинских переселенцев. На них в первую очередь и рассчитывали коммунары, как на наиболее вероятных союзников. Однако, даже внешний вид этих крестьян не внушал доверия: картузы, добротные поддевки, сапоги. Лаптей, которые часто встречались в губерниях центральной России, здесь не было ни у кого.

Он помнил тех новосёлов из 1908 года. Тогда только приехавшие они сильно бедствовали, сейчас многие из них уже «встали на ноги». Особенно бросались в глаза женщины, которые вырядились словно на престольный праздник, их румяные лица и обтянутые яркими ситцами, выставленные напоказ округлые формы. Всё это явно выигрывало в сравнении с измотанными, обносившимися «коммунарками». Не только казачки, но и крестьянки смотрели на приезжих женщин с чувством особого бабьего превосходства: и одеть-то вам нечего, и показать-то вам нечего...

– Ишь, как скулы то у их подвело, видать давно до сыта не едали... Ой, а бабы-то у их, в чём только душа держится, рёбры сквозь кофты торчат. Как же оне мужиков-то своих примают, обколются ить сердешные... Ха-ха-ха!... Хо-хо-хо!... Да бросьте вы бесстыжие, лучше на ребяташек их гляньте, как есть золотушные, одни башки, а тела-то и нет почтишто... Смотри, смотри, чего ж это пруть-то... Ящик какой-то большущий... Пойдём поближе глянем, вона

доски вроде отлетели... Да то ж никак музыка... В дому у атамана така же есть, евонная дочка, учителька играет на ей... Ну, атаманская-то дочка понятно, она барышня, в гимназиях обучалась, а эти-то, мастеровщина закорузлая, неужто то же грать собрались?... – так комментировали местные жители выгрузку с баржи грибунинского пианино.

Полина ехала на пристань Гусиную в пролётке, которой управлял отец. Иван, облаченный в форму, при шашке и револьвере ехал рядом верхом. Тихон Никитич хмурился, явно скрывая внутреннее напряжение. Перед тем как ехать, он всё никак не мог решить, во что одеться, в свой офицерский мундир с погонами или нет. Наконец, пришёл к «компромиссу», шаровары и фуражку одел атаманские, но чекмень сверху накинул без погон и не стал цеплять никаких крестов и прочих наград. О приезде коммунаров в станице узнали загодя. Из посёлка Берёзовского, расположенного ниже по Иртышу, как раз на подступах к Долине, прискакал верховой казак и сообщил, что из «ворот», выполз пароход с баржами.

В отличие от отца, Полина недолго думала, что одевать: своё выходное кашемировое платье, шитое летом прошлого года в Семипалатинске, когда она в последний раз гостила у Хардиных. С утра было прохладно, и она сверху одела каракулевый жакет, на руки лайковые перчатки, на голову любимую шляпку с вуалью, тоже приобретённую в Семипалатинске в магазине, где одевались все тамошние модницы. Мать наотрез отказалась ехать смотреть на «антихристов». Полина же ехала не столько посмотреть на прибывающих коммунаров, сколько в очередной раз показаться на публике в модном наряде и рядом с Иваном, которого отец попросил сопровождать его на пристань. И ещё, из письма Лизы она знала, что коммунары едут с семьями, и ей хотелось взглянуть на питерских женщин, вернее на то во что они одеты – хоть они и жёны рабочих, но как-никак из столицы, и возможно кое-кто из них одеты по моде, которая ещё не дошла в такую глубокую провинцию.

Тихон Никитич настолько был погружён в себя, что, похоже, забыл про дочь. Во всяком случае, он совсем не обратил внимания, на то что она, по приезду на пристань, вместо того, чтобы выходя из пролётки подать руку спешившемуся Ивану, просто из озорства, никого не стесняясь, прямо спрыгнула ему на руки. Иван от неожиданности едва ее удержал, густо покраснев не то от усилия, не то от того, что столько народу это увидели – жениху и невесте не пристало так себя вести на людях.

– Ишь, чего дочка-то атаманская творит... Женишка чуть с ног не сшибла... Резва кобылка необъезженная... – слышалось из толпы, ожидавшей «пришествия» неведомых людей.

Но Полина, ни на кого не глядя, оперлась, прислонилась к Ивану, чтобы все видели и знали – этот смущённый красавец ее суженый, и она не боится никаких сплетен и пересудов. Тревога, зародившаяся в ее душе, когда она из письма Лизы Хардиной узнала об этих коммунарах, как-то сама-собой прошла. Она любила и любима, любимый рядом, она была так счастлива, что все страхи и беспокойство отца не казались ей настолько заслуживающими внимания, чтобы о них сильно переживать.

После митинга коммунары стали торговаться с мужиками, приехавшими на порожних телегах – за сколько те брались довести их за тридцать вёрст выше по течению Бухтармы, что с пенистым рёвом врвалась тут же неподалёку в воды сравнительно спокойного Иртыша. Задымили походные кухни, готовящие обед. Коммунарам много чего требовалось, но Грибунин приказал общественные деньги тратить только на продукты. Лошадей, сельхозинвентарь и зерно на семена, планировалось закупить чуть позже, без спешки. Видя, что кроме мест-

ного казачьего атамана никаких властей здесь пока что нет, Василий с укоризной обратился к сопровождавшему товарищу из уездного Совдепа и прочим прибывшим с ними местным коммунистам, в основном прячущихся за спинами коммунаров:

– Что же это у вас тут братцы, никакой власти Советов, всё ну как при царе?

– А тут так и есть, не видишь что ли, казаки, они же первые царские прихвостни были, их отцы, деды-прадеды ему верой и правдой служили. Потому, ты товарищ председатель лучше кошеварство свое сворачивай, да скорее отсель, от станицы подале. А то не приведи Господь, порубают нас тут да постреляют, ишь как смотрят, – ответил Грибунину один из подсевших в Уст-Каменогорске коммунистов, фронтовик без пальцев на одной руке, назначенный председателем сельсовета в свою родную деревню...

Несмотря на то, что митинг, который пытались организовать коммунары, не «зажёт» массы местного крестьянства, Иван проникся тем же чувством, что уже давно испытывал Тихон Никитич, подспудно ощутил исходившую от приезжих незримую, смертельную опасность. Опасность всему устоявшемуся здесь за сто с лишним лет быту, тому к чему он сам привык. Полина же, пристально разглядывала приехавших, пока они выгружались, митинговали, собирали дрова вдоль берега, чтобы растопить печи походных кухонь. Женщины производили удручающее впечатление. То за чем она приехала, увидеть хоть нескольких прилично одетых петербурженок... Увы, почти все они выглядели хуже прислуги в хорошем провинциальном доме. Они смотрелись изможденными, их волосы явно не мыты много дней. Даже на расстоянии, через запах своих духов она ощущала, как от этих женщин исходит противный запах давно по настоящему не моющихся женских тел. Они были чрезмерно худы, а их дети... Полине они показались почти все больные рахитом и тому подобными болезнями, происходящими от неполноценного питания. Несмотря на изначально радужное настроение, постепенно и ей передалась тревога, что испытывал отец. Да, это была грязная, полуголодная, но организованная и деятельная масса, подчиненная единой воле.

Она знала, что сытый голодного не разумеет, но отец часто в своих рассуждениях выворачивал эту поговорку наизнанку, голодный сытого тоже не разумеет, да ещё и ненавидит. Эту ненависть она совершенно неожиданно заметила во взгляде обращённом лично на неё. Когда сгружали с барж ящики с медицинскими крестами в тут же разбитую палатку, видимо походный лазарет, возле нее распоряжалась худая невысокая женщина лет тридцати пяти. Они встретились глазами. Женщина смотрела так, что Полине на мгновение стало неловко за свою внешность: румяные щёки, высокую грудь, платье, тесно обтягивающее бёдра. Но тут же волевым усилием она подавила это невольное смущение: да как она смеет так смотреть на нее, чужачка-мужичка, на дочь местного атамана, здесь родившуюся!?!...

Несмотря на то, что атаман торопил, и попутчики-коммунисты подсевшие в Усть-Каменогорске тоже торопили, в первый день погрузиться на подводы не успели. Запалили костры и переночевали рядом с пристанью, продрогнув от ночной сырости и прохлады, веющими от рек. Лишь ранним утром следующего дня первая колонна подвод потянулась по извилистой дороге вверх, в горы, вдоль берега Бухтармы. Быстрое течение шумело галькой и вскипало на порогах, солнце зловеще всплывало над гребнями гор, вершины как будто слегка дымились.

– Горы топятся, не иначе к дождю, али к бяде, – перекрестившись, со вздохом произнес один из возниц, крестьянин, нанятый коммунарами со своей телегой и лошадью...

Кругом же просыпались, цвели склоны и распадки диким миндалём, шиповником, жимолостью, цветами невиданной красоты – жарками. На прежде не подлежавшей распашке цар-

ской земле вырос палаточный городок и уже через несколько дней под баянный аккомпанемент и пение «Интернационала» привезённые из Питера плуги коммунаров прорезали первые борозды в жирной никогда не паханной земле.

15

Так и зажили с весны 1918 года в недружественном соседстве, коммунары и казаки. Крестьяне-новоселы сначала на это взирали как бы со стороны, держали нейтралитет. Для них и те, и те были нелюбы. Казаки по старой памяти и потому что на лучшей пойменной земле сидели, не давали напрямую торговать с купцами-хлеботорговцами. Коммунары, потому что показались уж больно шабутными, песни поют, да на митингах орут, Богу не молятся, а главное ни с того ни с сего новая власть им такую землю отвалила. Обидно, когда на старом месте в России жили – лучшие земли у помещика, сюда пришли – у казаков. А теперь вот ещё и у этих горлопанов, мастеровых городских, а не у тех, кто из поколения в поколение землю холил и лелеял, молился на нее. Куда крестьянину податься, и при старой власти не было справедливости, похоже, и при новой не будет.

Авторитет Грибунина среди коммунаров за время путешествия настолько вырос, что его «внутрикомунные» недоброжелатели предпочитали пока помалкивать. Не посмел никто возразить, и когда он по своему усмотрению расходовал общественные деньги, закупая лошадей, дойных коров, свиней, инвентарь, продукты. Впрочем, Василий старался особо властью не злоупотреблять, сначала надо укрепиться, наладить жизнь и работу коммуны. То же советовала ему и жена. Она тоже пока что «наступила на горло» своим амбициям и старалась ничем не выделяться среди прочих коммунарок, ни в одежде, ни в поведении. Не в последнюю очередь по причине того, что председатель и его жена не «барствовали», удалось с первых дней установить жёсткую дисциплину внутри коммуны. Лишь поздно вечером, оставаясь вдвоём в своей семейной палатке, уложив детей, Лидия «расслаблялась», давая своему внутреннему настрою вырваться наружу, выговаривала мужу, что накопилось в душе:

– Когда на пристани выгружались, видел, как бабы здешние одеты, особенно казачки. Чуть не все в душегреях, платки кашемировые, платья дорогие, не из простенького ситца, многие в хромовых ботинках. А выглядят как, все кормленные, и с заду, и спереди так их и распирает. А дочку атаманскую видел? Она в пролётке потом с отцом уехала. В Питере так только самые богатые дворянки до революции одевались, прямо графиня стоит, фу ты, ну ты. Только те больше худые были, а у этой всё из платья так и лезет. И на меня посмотрела, будто плёткой отхлестала...

Лидия укоряла мужа, ибо она из-за нервотрёпки и недоеда последнего времени так сдала, что ей даже стали велики платья, кофты и юбки, которые она носила до замужества.

– Ничего, Лидочка, ничего... дай срок, и ты у меня заживёшь, выправишься, сама как графиня будешь, – успокаивал жену Василий. – А казачкам этим не завидуй, сама знаешь, у рабочего класса, советской власти к казакам большой счет имеется. Много они над нашим братом поизголялись, ногайками нас попорол, да конями подавили. Дай срок, спросим, за всё спросим, вот тогда и посмотрим на этих казачек, сколько на них сала останется, и какая на них будет одежда...

На одном из первых собраний на новом месте Грибунин огласил план работы коммуны на ближайшие летние месяцы. Первое дело хлеб. Вспахать, посеять, чтобы осенью отправить

как минимум один эшелон хлеба в Петроград. Попутно рубить лес и начинать строить бараки и хозяйственные постройки, заготавливать дрова, чтобы пережить зиму... С утра до вечера дымили походные кухни. Пища готовилась на всех и ели все вместе за длинными дощатыми столами под брезентовым навесом. Потом, так же все вместе выходили в поле. За этим доселе здесь невиданным коллективным трудом и строго регламентированной жизнью, с удивлением наблюдали жители близлежащих деревень. Отзывались по-разному и отмечали то, что наиболее бросалось в глаза. Кто-то говорил, что питерские молодцы, так-то вот «обществом» и горы свернуть можно. А кто-то замечал, что работают коммунары неодинаково, кто-то честно, здоровья не жалея, а кто-то и отлынивает, чуть что сигарку норовит посмолотить...

Вечером, после работы, приходили в палаточный городок коммунаров местные мужики, осматривали привезённые питерцами орудия труда, пробовали кашу из общего котла, дивились на клейма, проставленные на простынях и наволочках. Завхоз коммуны с гордостью пояснил, что постельное бельё получено со складов Смольного института благородных девиц. Дескать, до революции на них барышни-дворянки не жили, а сейчас товарищ Ленин распорядился отдать это постельное бельё рабочим. Такие метаморфозы нравились многим мужикам, с рождения привыкшими ощущать себя низшим сословием. Особенно дивились местные лакированным бокам пианино, установленного в клубной палатке. Лидия специально садилась к нему и для них играла революционные мелодии: «Смело товарищи в ногу», «Варшавянку», «Рабочую Марсельезу»... В восхищённом шепоте гостей, тем не менее, проскальзывали и скептические отзывы:

– Ишь, барыню из себя строит, на музыке играет, а у самой руки как у прачки, кожа-шелуха, и вся как коза драная, смотреть не на что...

А один степенный мужик, когда-то певший в церковном хоре и способный «чувствовать» мелодию, безапелляционно заявил:

– Плохо председателява жёнка на музыке играет. Я вот в прошлом году ездил в станицу, в Усть-Бухтарму, к попу тамошнему в хор наниматься... ну тот не взял меня, потому как не казачьего звания, зато я слышал из атаманского дома из окна открытого, как дочка атаманская играла, которая учителькой там служит. Так вот, она намного лучше играла и всё такое душевное, «На сопках Манжурии», вальс значит, ещё что-то такое же. Так я задержался, стоял рот разинув слушая, пока какой-то казак кривой из ворот не вышел и не турнул меня оттуда. А эта председательша уж больно наяривает сильно, никакой душевности. С такой музыкой солдатам в строю ходить сподручно, а ещё лучше как четверть самогону тяпнул, вот так по улице кренделя выписывать и петь «Смело товарищи в ногу»...

Скотина, которую купили коммунары, два десятка коров, около полусотни свиней, пасли на свободных лугах в нескольких километрах от лагеря. Чего-чего, а зарослей густых трав и свободных урочищ вокруг было предостаточно. Свиней постепенно забивали для общего котла. Хлебная наваристый борщ со свиной, коммунары не могли не вспоминать полуголодное существование в Петрограде. Огороды под картошку и капусту располагались на обрывистом берегу Бухтармы. Для полива использовали мальчишек. Они зачёрпывали вёдра из речного потока и по цепочке передавали их наверх, где вода разливалась по капустным лункам...

Коммунары тоже наведывались в окрестные деревни. Смотрели, как живут и работают на своей земле крестьяне, учились и попутно пытались вести агитацию за новую власть, которая обещала всё поменять в социальном раскладе общества. Бойкие на язык, привыкшие выступать на митингах и собраниях, активисты-питерцы обычно легко побеждали в дискуссиях кос-

ноязычных селян. Но иногда получали в виде вопросов такие философские истины, что не находили как ответить и сами задумывались.

– Вот ты, мил человек, говоришь, что в вашей песне поётся: кто был ничем, тот станет всем?

– Ну да.

– То есть был простым чёрным мужиком, а станет господином. А тот, кто был господином, что теперь вместо мужика станет работать?

Разъяснения коммунаров, что все должны трудиться одинаково не звучали убедительно, мужик гнул свое:

– А я так думаю, быть всем – это значит не работать, а командовать, приказывать...

И этот сермяжный аргумент «бил» сильнее громогласных призывов к «всеобщему братству труда».

Василий и Лидия как раз это понимали очень хорошо, что вершина общества подобна вершине горы, она невелика и на ней могут разместиться немногие, а большинству так или иначе придется на этих «небожителей» смотреть снизу вверх, и не только смотреть, но и подчиняться и работать на них. Разленившиеся, разнежившиеся дворяне на этой вершине не удержались, волна недовольства снизу скинула их, они освободили место. Для кого? Василий и Лидия надеялись, что для таких как они. Для того они сейчас и работали на износ, не щадя себя, чтобы поднявшись на ту вершину более так плохо никогда не жить, не работать, обеспечить и себе лёгкую старость и застолбить места на вершине для детей...

Мечтая о «счастливом будущем» Лидия не могла не думать о сыновьях. Сейчас они вместе с прочими коммунарскими детьми встали в цепочку по доставке ведер воды из Бухтармы до капустной делянки. Но их будущее она видела совсем не таким, как у их нынешних товарищей. Эти так и должны остаться внизу, сейчас они таскают вёдра, как вырастут, будут всю жизнь пахать и сеять, убирать урожай, а если не захотят их заставят, или же поставят к станкам, как их отцов, дадут в руки ломы, лопаты, в лучшем случае они будут водить автомобили или паровозы. Но ее детям должно быть уготовано место на вершине, а для этого надо учиться. Почему столько евреев на самых высоких постах в советском правительстве? Потому что среди русских революционеров мало по настоящему образованных, способных занять те посты.

Как решить вопрос с учёбой детей здесь? Лидия всё время ломала над этим голову. Конечно, на крайний случай можно и самой заниматься с ребятами, что она и делала иногда по дороге из Петрограда, чтобы прервавшие учёбу сыновья совсем не выпали из учебного процесса. Но всё-таки лучше, если бы они регулярно ходили в школу. Увы, ближайшая такая школа, где были квалифицированные учителя, находилась за двадцать с лишним вёрст в Усть-Бухтарме. В деревнях дети новосёлов вообще не учились с прошлого года – даже там, где имелись, так называемые министерские школы разбежались учителя, которым перестали выплачивать жалование. Лидия настойчиво просила мужа, который иногда ездил в станицу на телеграфный пункт, телеграфировать в уезд о делах в коммуне... Так вот она его настойчиво просила договориться о возможности со следующего учебного года привозить на учёбу учеников из коммуны. Но Василий выяснил, что в станичном высшем начальном училищем руководит прежний старорежимный заведующий, учительствует дочь станичного атамана, к тому же занятия проводятся по старой дореволюционной программе, в том числе с обязательным «Законом Божьим», который ведёт тамошний поп. Потому он решил с этим вопросом пока повременить. Лидии ничего не оставалось, как готовиться к самостоятельному обучению

детей, чтобы приготовить их к сдаче экзаменов экстерном. Но такие занятия, видимо, придётся проводить в глубокой тайне, ибо учить чужих детей она не собиралась.

16

Занятия в Усть-Бухтарминском высшем начальном училище заканчивались в апреле, к началу полевых работ. Следующий учебный год начинался в октябре после уборки урожая. Так приурочивалась учёба, потому что едва ли не все дети школьного возраста оказывали родителям посильную помощь в горячую пору, если не в поле, так по дому. В высшем начальном училища дети учились пять лет. Но далеко не все проходили полный курс. В прежние времена казачьи школы патронировал отдельский инспектор казачьих школ. Тогда существовал строгий распорядок: с утра первые уроки общеобразовательные – словесность, арифметика, включавшая и геометрию, чистописание, история, география, черчение, потом после этих уроков обязательные для всех мальчиков военные занятия – пеший строй, гимнастика, основы владения шашкой и пикой. Но после упразднения управления отдела станичные училища и поселковые школы оказались, как бы предоставлены сами себе. Нет, материально они никогда не зависели от отдела, ибо содержались на станичные деньги. Но, как и чему учить детей? Такой вопрос, нет-нет да и посещал Полину, несколько омрачая очередной заботой её безоблачное невестинское настроение.

Заведующий, Прокофий Савельевич, строго держался старого привычного «распорядка», заложенного во все начальные учебные заведения Сибирского казачьего войска ещё на рубеже веков. Разве что «Боже царя храни» перестали заучивать наизусть, да полные титулы государя императора, членов его августейшего семейства, личности и звания наказного и отдельского атаманов. Куда уж там, если августейших уж больше года как нет, а наказного и отдельского – полгода. Но заведующий очень надеялся, это не надолго, все вернётся на круги своя. Благодичный отец Василий тоже не сомневался, что никакая, даже самая безбожная власть не посмеет отменить «Закон Божий». Полина всё же не до такой степени была невосприимчива к изменениям внутривполитической обстановки в стране и хотела внести в школьную жизнь кое какие новшества. На занятиях словесности и истории она уже почти не упоминала царей и многое из того, что связано с самодержавной властью. Но всё это было непросто, дети особенно в старшем классе, побаиваясь задавать «острые» вопросы Прокофию Савельевичу и отцу Благодичному, к Полине доверчиво тянулись и спрашивали: а почему сейчас нет царя... кто такие большевики... а что нас немцы побили???

И как тут объяснять, если они от родителей дома слышат совсем неоднозначные разговоры. Кто-то до сих пор не снимает портретов государя-императора и царской семьи, а у кого-то отцы, вернувшись с фронта, наслушались там революционных речей, поначитались листовок и газетных статей. Новой власти пока что было не до школ в отдалённых станицах, и здесь всё шло почти по старому, самотёком. В этом году учителям не разу не было выплачено жалование деньгами. Ну, Полине-то оно вообще было без надобности, она за отцом жила, а вот Прокофий Савельич, по происхождению разночинец, но женатый на казачке и за заслуги перед станичным обществом в 13-м году возведенный в казачье звание, к тому же переучивший едва не всех когда-либо учившихся усть-бухтарминцев... Так вот, заведующий ощущал себя казачком едва ли не больше чем казаки природные. Тихон Никитич, конечно, не позволил бедствовать старому учителю и платил ему жалование продуктами из войсковых складов и амбаров. Возможно, именно такая зависимость заведующего от отца и подвигла Полину выступить с предложением о введении некоторых новшеств в училище.

Ещё с давних времен в казачьи школы и училища спустили циркуляр об обучении только казачьих детей. Дескать, школы не министерские, а войсковые, содержаться на деньги войска и не казачьим детям в них не место. Таким образом, дети новосёлов там не имели возможности учиться. Не везде этот циркуляр соблюдался, очень часто в тех поселковых школах, где учительствовали учителя не казачьего звания, обучали и детей новосёлов. Но Прокофий Савельич циркуляра придерживался строго, более того он не пускал в училище детей новосёлов и сейчас, когда уже ни самого отдела, ни инспектора не было. Вот Полина и попыталась объяснить старику, что в новых условиях постановления уже несуществующей вышестоящей инстанции можно и не соблюдать, что позволило бы ослабить напряжённость между казаками и новосёлами. Но тут Прокофий Савельич вдруг из доброжелательного сделавшись строго-официальным, дрожащими руками поправляя пенсне на большом носу, произнёс возмущённую тираду:

– Глубокоуважаемая Полина Тихоновна, я понимаю, что вы как девица образованная и современная... да, даже очень современная, желаете что-то здесь изменить... считаете меня старым, замшелым индюком, врагом всякого прогресса! Я, конечно, очень обязан вашему батюшке... очень обязан... но позвольте вам заметить, что прогресс этот ведёт к тому, что мы имеем в нашем благословенном Отечестве. Потому, позволю вам заметить, пока я являюсь заведующим этого училища, никаких нововведений здесь не допущу и мужичьи дети рядом с казачьими за одними партами сидеть не будут. Сословность и строгое соблюдение закона, вот что цементировало порядок в стране. А как началось либеральничанье страна погрузилась в хаос, да с в хаос, милая моя. Потому я во вверенном мне заведении буду придерживаться старых правил...

В общем, высшее начальное училище в Усть-Бухтарме функционировало так же как и год и два назад... но оно функционировало.

Про коммунаров в станице посудачили, да как-то быстро и подзабыли, свои дела прежде всего, сами пахали и сеяли. А сеяли много, ибо пришла с фронта основная рабочая сила, демобилизованные казаки, которые оголодав по мирной работе, стремились распахать всю свою землю. Ввиду того, что в прошлые годы из-за нехватки рабочих рук сеяли мало, семенного зерна не хватало. И атаман ссудил своих одностаничников, из казённых войсковых амбаров на свой страх и риск... Хотя может риск был и не так велик, ведь прежнего отдельского начальства не существовало, а новое уездный Совдеп в горы пока подниматься не решался. Своими действиями атаман, тем не менее, укрепил свой несколько пошатнувшийся авторитет.

Тихон Никитич как обычно нанял на посевную сезонных батраков-новосёлов. Четыре многолемешных плуга, столько же борон, пароконные сеялки... с помощью этого заранее подготовленного инвентаря все сто десятин фокинской пашни, что составляло ровно половину всех его земель, были распаханы и засеяны. А вот Игнатию Захаровичу свои сорок десятин пришлось пахать и засеять вдвоём с Иваном. Степан покрутился в станице, съездил в близлежащие казачьи посёлки Берёзовский, Александровский, Вороний и Черемшанский. Везде проводил свою агитацию, читал прокламацию подписанную Анненковым. Но уговорил не многих. Где-то в начале апреля, пока стоял лёд на Иртыше, собралось их восемь человек и через лёд поехали они со Степаном под Омск, туда где есаул Анненков собирал свой партизанский отряд, чтобы воевать против большевиков.

Так что пришлось отцу с Иваном, одному брать лошадь под уздцы, второму становиться за плуг. Впрочем, это было ещё терпимо – два здоровых мужика в доме. Плохо было там, где их не было, или остались старые, малые, больные, калеки... А ходить за плугом казачке

– в станице это считалось не женским делом, тем более именно такое часто наблюдалась у крестьян-новосёлов. «Не, мы не мужики лапотные, у нас бабы сроду за плугом не ходили», – обычно с презрением, глядя на такие картины, говаривали казаки... Хоть и призывал атаман помочь вдовам и тем, у кого мужа пришли с войны увечными, но помощь та осуществлялась уже после пахоты своего куска юртовой земли. Потому в таких семьях засевали не всю свою пахотную землю, а предпочитали часть, а то и всю сдавать в аренду новосёлам, которые или смогли разбогатеть, или имели много рабочих рук в семье, а земли недостаточно.

Погода в мае весь месяц стояла как на заказ – тишь да благодать. Все сеяли, и казаки, и мужики, и коммунары. И со стороны казалось, что в этом мире полная трудовая гармония. Но так только казалось. Коммунары и приехавшие с ними, разошедшиеся по деревням местные коммунисты, старались группировать вокруг себя голытьбу, и ждали когда укрепиться советская власть в области и уезде, чтобы окончательно убрать всё ещё функционирующую в Долине казачью администрацию. Новосёлы жаждали перераспределения казачьей земли. В свою очередь казачьи органы самоуправления, прежде всего в таких больших станицах как Усть-Бухтарма, Буконская, Алтайская, где имелись телеграф, поддерживали между собой связь и тоже ждали...

Иван и Полина жили как бы двумя параллельными жизнями. Первой, жизнью повседневных будней, тревожного ожидания социальных перемен, которые грозили вот-вот докатиться и до бухтарминской глухомани. Второй, жизнью ежедневных встреч, переизбытка счастья, и тоже ожидания... ожидания свадьбы. С наступлением относительно тёплых вечеров, они уединялись уже не в комнате Полины, а в небольшом саду, разбитом за атаманским домом, где была сделана беседка. Здесь возлюблённые засиживались до-поздна, разговаривая, ласкаясь, слушая доносящиеся с улицы переборы гармошки и разбитные частушки, песни, девичий визг – это была первая весна за последние четыре года, когда в станице было достаточно много молодых казаков, в результате интенсивность «вечерней» жизни в станице резко возросла. Иван с Полиной на те гульбища не ходили, и не только потому, что были уже нареченными женихом и невестой, их туда совсем не тянуло. В первую очередь здесь, конечно, играл роль разный образовательный уровень, он как бы выстроил незримую границу меж ними и их ровесниками, в лучшем случае закончившими станичное начальное училище. В те годы разница между средним и начальным образованием была очень велика, и кому удавалось окончить гимназии и кадетские корпуса, не говоря уж о юнкерских училищах и университетах, как бы автоматически причислялись к высшему, благородному сословию. И хоть Иван, так же как прочие рядовые станичники пахал, сеял, косил, его уже не держали за равного, он стоял намного выше, он имел офицерское звание, что у казаков искони являлось предметом почтения и уважения. При встрече с ним заслуженные старики становились во фронт, отдавали честь и приветствовали:

– Здравия желаем, господин сотник, – и, как бы подчеркивая особое расположение, добавляли уже по свойски, – Что ж погоны-то не носишь золотые, Иван Игнатьич, ить заслужил, все науки прошёл?

Ивану приходилось отговариваться, какой либо причиной, что де на сеялке в мундире особо не поездишь, или ещё чего, но ни в коем случае не обидеть, не задеть какой-нибудь резкостью старика, чтобы тот потом не прибежал жаловаться отцу. Тем более не ровней считалась молодым казачкам Полина. Она вообще на всю станицу и окрестные посёлки была единственной особой женского рода закончившей гимназию. И хоть в свои двадцать лет она не вышла замуж, тогда как ее ровесницы в основном были замужними и часто имели самое малое одного ребёнка... Полину все понимали, и одобряли поведение – она ждала жениха. И не только потому, что Иван воевал на фронте, Полина не могла выйти за него, ведь ее жених офицер,

а по царскому указу офицер не имел права жениться не достигнув двадцати трёх лет. И хоть царя уже больше года как не было, в станице не поняли, если бы Иван вдруг нарушил этот указ. В апреле этого года Ивану исполнилось двадцать три и уже ничто не могло им помешать.

Иван и Полина предчувствовали, что с замужеством их жизнь изменится. Они не сомневались, что будут по-прежнему желанны друг друга, но то будет уже совсем другая любовь. Потому, они без остатка отдавались нынешней, чистой и если так можно сказать непорочной любви парня и девушки, но ещё не мужа и жены. В ней тоже есть своя прелесть, которую большинству людей во все времена или не посчастливилось испытать, или она была слишком короткой, либо они не обладали таким даром от рождения. Это особая любовь, когда всё доводится почти до высшего экстаза, но последняя черта не переступается по негласному взаимному согласию. Но до этой черты в полутьме беседки позволялось едва ли не всё... всё, где поцелуй в губы был самым невинным из того, что позволялось. Увы, даже когда они уединялись, их любовные игры, всё чаще заменялись разговорами «на злобу дня».

В один из последних дней мая Полина решила показать Ивану своё уже почти готовое подвенечное платье, которое ей шила тетка, сестра матери в своё время работавшая в пошивочной мастерской в Усть-Каменогорске. Для этого дела тётку, бывшую замужем за усть-каменогорским казаком специально вызвали в станицу. В своей комнате Полина устроила ширму, по типу будуаров светских львиц. И вот, когда она вышла в этом белоснежном расшитом кружевами наряде из-за ширмы... Иван вместо того, чтобы как положено любящему жениху восхититься, эдак по офицерски отпустить галантный комплимент, или, что тоже было в их взаимоотношениях вполне допустимо, поступить по казацки, не совсем пристойно, дать волю рукам и что-то ненароком слегка повредить в этом великолепии. Вместо этого Иван вдруг сделался серьёзным, даже слегка помрачнел и заговорил озабоченно:

– Очень красиво Поля... Слушай, если у тебя и платье почти готово, тогда может не надо до осени ждать, мало ли что. Давай побыстрее в Иванов день, или на Петров обвенчаемся.

– Что так торопишься... скорее меня забрать и запереть хочешь? – Полина не приняла серьезного тона жениха и спрашивала с улыбкой.

В то же время в ее голосе чувствовалось и некоторое беспокойство – она немного побаивалась идти невесткой в дом к Ивану. У себя она жила вольготно, но предчувствовала, что у Решетниковых ей вряд ли будут создавать такие условия.

– Ну, ты что, как будто не понимаешь о чём я? – с лёгким раздражением произнёс Иван.

– Да всё я понимаю, – тут же посерьёзнела и Полина. – Может ты и прав. Отец вон тоже тревожится. Говорит Дутов на Урале против большевиков выступил, и у нас вот-вот начнется, всё к тому идёт.

– Вот и я о том. Дутова я знаю, он у нас в юнкерском сапёрное дело преподавал, серьёзный человек. Если такие люди за дело взялись быть большой войне. Спешить нам надо Поленька. Тут ещё эти коммунары новосёлов мутят. Чую и с ними много мороки будет.

Полина сняла фату и прямо в своём кружевном наряде присела на тахту.

– Да, я тоже заметила, даже батраки, что у нас каждый год работают, и они как-то по-другому смотрят, раньше глаз не смели поднять, а сейчас так и обшаривают всю, как ровню. Ох, что будет, как будто весь страх из людей сразу куда-то ушёл, ни Бога, ничего не страшатся. И ещё, хотела тебе сказать, Васька Арапов вчера, когда из школы шла, встретился. На ногах вроде крепко стоит, а по глазам пьяный, я таких кокаинщиков в Семипалатинске видела. Мое

почтение, говорит, я поздоровалась и мимо скорей пройти хочу, чего с ним языками цепляться. А он мне вслед, зря брезгуете Полина Тихоновна, жизнь она по всякому может повернуться, сегодня ваш батя атаман, а Ванька жених, а завтра может я и тем, и тем буду. Представляешь, каков хам?

– Да, Васька ещё тот варнак, – аскетичные скулы Ивана свело злобой.

Иван и Василий были ровесники. Отец Васьки занимал пост станичного атамана до Тихона Никитича. И хоть на том поприще отличился он беззастенчивым лихоимством, но зато Ваське в отличие от Ивана, как сыну станичного атамана, имевшего в то время офицерские права дорога для поступления в кадетский корпус на казенный счет была открыта. Из корпуса его отчисляли дважды, за пьянство и самовольные отлучки. Тем не менее, среди кадетов о Ваське гремела слава бесшабашного храбреца. Он, уже будучи в старших классах «исследовал» все значные места Омска, умудрялся проносить в спальное помещение спиртное, сводил «жаждущих» кадетов с дешевыми проститутками и прочими «дающими» горожанками. Сам он не раз переболел триппером... Если Захар Игнатьич обивал пороги всевозможных начальников и «подмазывал» до поступления сына в корпус, то очередь отца Васьки настала после. Оба раза он сумел сына «отмолить». Ваське даже позволили закончить учебу, но ни о каком поступлении в юнкерское с такой характеристикой не могло быть и речи. Тем не менее, благодаря наличию среднего образования офицером он всё-таки стал на фронте, куда попал в качестве вольноопределяющегося. Здесь он отличился лихой храбростью и одновременно жестокостью и издевательствами над пленными и гражданским населением. Уже став хорунжим, он едва не угодил под военно-полевой суд за изнасилование. Спасла его срочная демобилизация после октября 17 года. Таким образом, Васька вместе с 6-м полком прибыл домой при погонах и наградах, всё как положено, и лишь от однополчан стало известно о его фронтовых «похождениях».

Иван понимал, Васька ему завидует и видимо ненавидит. Он это чувствовал ещё в корпусе, когда его как одностаничника постоянно ставили Ваське в пример. И то, что Иван закончил юнкерское, а Васька нет, и теперь, когда он чудом избежав суда вернулся домой хорунжим, а Иван сотником... И в отношении Полины Васька наверняка тоже имел какие-то виды, но и тут ему поперёк дороги встал он, Иван Решетников.

17

В один из ясных июньских дней, которые летом в Бухтарминском крае случаются часто, когда коммунары разошлись по работам, на дороге из Усть-Бухтармы возникло небольшое облачко пыли, поднятое телегой запряжённой неказистой лошадёвкой. За спиной возницы сидел человек лет сорока, в картузе, пиджаке, косоворотке, кирзовых сапогах и с потёртым портфелем.

– Вон оне... Вишь где поселилися. Вона, где флаг, рядом палатка, то и есть ихний штаб, тама и председатель сидеть должен, – возница указывал кнутом в сторону лагеря коммунаров.

Человек в картузе соскочил с телеги и, помахивая портфелем, бодро зашагал к лагерю, а телега покатила себе дальше по дороге в сторону Зырянска. Пройдя через ряды семейных палаток, меж которых на натянутых верёвках сушилось бельё, он беспрепятственно зашёл в штабную, где увидел сидящего за грубо сколоченным столом и корпевшего над какой-то бумагой председателя.

– Доброго здоровья! Вы будете председатель коммуны?... Позвольте представиться, страховой агент Бахметьев.

Грибунин с удивлением и подозрением воззрился на вошедшего:

– А как... как вы вошли? Эй, дежурный, почему в лагерь допущен посторонний!? – Василий кричал на улице, где возле флага постоянно должен был находиться вооружённый наганом дежурный по лагерю. Но большинство коммунаров, никогда не служившие в армии рабочие оборонного завода, не знали воинской дисциплины и запросто могли во время дежурства отлучиться, как в данный момент. По этой причине столь подозрительный субъект, назвавшийся страховым агентом, никем не остановленный дошёл аж до самого председателя.

Не дождавшись дежурного и чертыхнувшись про себя, Грибунин обратил теперь своё недовольство на незваного гостя:

– Какой такой страховой агент? Что ты мне тут заливаешь, сейчас я тебя задержу, а потом выясним, кто ты есть, и кем сюда посланный, – с этими словами Грибунин достал из ящика стола уже свой наган.

– Спокойно, товарищ, – оглянувшись на вход, вошедший заговорил вполголоса. – Молодец, бдительный, а дежурного своего обязательно взгрей, эдак к тебе тут кто угодно зайдёт. Агент – это маскировка, вот мой мандат, – откуда-то из глубин своей одежды, то ли из под рубашки, то ли из под брюк, приезжий извлек сложенный кусочек клеёнчатой материи, развернул и достал небольшой лист бумаги.

Грибунин, по-прежнему держа гостя под прицелом, читал документ.

– Значит, вы Бахметьев Павел Петрович из Семипалатинского Совдепа... Что-то я вас не помню. Я в апреле в Семипалатинске был, почитай всех членов Совдепа видел, – с прежним подозрением буравил взглядом приезжего Василий.

– Товарищ Грибунин, я не являюсь легальным советским руководителем, более того, я не местный, два месяца назад приехал для ведения секретной партийной работы, откомандирован для помощи местным партийным органам. Меня и в области, и в уезде знают единицы особо доверенных товарищей. Именно потому, что меня тут никто не знает, я и отправлен с тайным заданием ввести в курс последних событий всех товарищей возглавляющих советские организации в такой вот глубинке. А события назревают к сожалению не очень хорошие. К вам я заехал ещё и потому, что вы во всей округе единственная организованная сила, которая может выполнить роль стержня, опоры советской власти здесь, в Бухтарминском крае.

Грибунин опустил револьвер, уперев его дулом в стол и вдруг хитро, недоверчиво подмигнул:

– Складно чешешь, да что-то не верится.

– Товарищ Грибунин, я не вру, и у нас нет времени выяснять, что, как и почему. Положение в последние две недели крайне осложнилось и я должен вас об этом оповестить, а потом ещё успеть к товарищам в Зыряновск. Поймите, положение в области и уезде более чем серьёзно. Третьего дня, когда я только прибыл в Усть-Каменогорск, тамошний Совдеп запрашивал Семипалатинск с просьбой прислать пароход, чтобы эвакуировать всех коммунистов и их семьи. Со дня на день ожидается выступление казаков Усть-Каменогорской и близлежащих к городу станиц. Насколько я в курсе, в Семипалатинске тоже готовятся к эвакуации. Есть неподтверждённые сведения, что советская власть уже свержена в Томске, Павлодаре и Зайсане, рядом с Омском идут бои с контрреволюционными казаками из отряда, который возглавляет есаул Анненков...

Василия настолько ошарашило услышанное, что его подозрительно-насмешливое выражение быстро превратилось в растерянное. Гость говорил настолько естественно, просто, безо всякой рисовки, обыденно... отчего уже не возникало сомнений в его правдивости и информированности. Тем не менее, он не мог не выразить удивления:

– Пойдите, как это свержена, прочему не защищались!? И почему из Усть-Каменогорска собираются эвакуироваться? У них же там отряд красногвардейский. Надо драться и подавить всю контру, – Грибунин убрал револьвер и в прострации сел на своё место, машинально предложив сесть и гостю. – Присаживайтесь... Ты уж извини товарищ. Как-то оно всё неожиданно, не таких вестей я ожидал. Ты же пойми, мы тут как в банке какой сидим, ни уезд, ни область не шлют никаких конкретных директив. Я каждую неделю мотаюсь в станицу на телеграф, ни одного распоряжения, будто все про нас забыли. А ведь нас сюда сам товарищ Ленин прислал. И потом, почему Омск не помогает никому, там же полно войск, красногвардейцы, матросы Балтфлота.

– Вы так и не поняли. Контрреволюционные волны идут по всей Сибири, сейчас не до нас. Я ещё не всё вам сказал... 25 мая в Омске взбунтовались чехи. Ну, вы наверное знаете, что ещё временное правительство формировало корпус из военнопленных чехов, чтобы послать его воевать с немцами. Совнарком постановил их всех эвакуировать на родину через Владивосток. Стали их разоружать, они взбунтовались, этим воспользовались наши контрреволюционеры. Чехи это серьезная организованная вооруженная сила, которая оттянула на себя основные силы красной гвардии. Так что Омск сейчас никому помочь не может, – пояснил Бахметьев.

– Понятно, – потерянно пробормотал Грибунин, но тут же усилием воли подавил растерянность, собрался. – Спасибо, хоть сообщили, а то мы тут в земле заковырялись, и не ведаем, что за этими горами творится. А насчёт чехов... думаю это не так уж опасно. Из Петрограда должны войска прислать, да и про нас думаю товарищ Ленин тоже не забудет... Да, товарищ Бахметьев, у нас скоро обед, люди соберутся, митинг организуем. Там ты, товарищ, и выступишь с докладом о текущем моменте. Чтобы которые неустойчивые пролетарии не слухам, а своим проверенным товарищам верили. А тебя мы сначала покормим. Пойдём в санитарную палатку, там у моей жены...

– Не надо никакого митинга и никакого обеда, – перебил гость. – Вы, похоже, так и не осознали всю серьезность ситуации. Тогда говорю конкретно. Советской власти в уезде и, по всей видимости, во всей Сибири остаются считанные дни. Уездной партийной организации придётся работать в подполье, возглавлять подполье буду я... Понимаете, для того я не только маскируюсь под страхового агента, я им действительно являюсь. И о нашем с вами разговоре прошу никому ни слова, и обо мне тоже никому, даже жене. Для всех я страхового агент.

– Как же так... что ж это такое... считанные дни... – вновь растерялся Грибунин. – Вы в подполье, а мы?... Мы не можем в подполье, у нас хлеб посеян. Неужто, действительно всё так плохо?

– Я вам об этом только и толкую. Потому, сейчас не время митинговать, а надо принимать меры безопасности. Если здесь зашевелится контра, поднимутся казаки, поймите, вам помощи ждать неоткуда... Давайте прикинем ваши силы. Сколько у вас оружия?

Вопрос застал Василия врасплох. Он заколебался, стоит ли говорить всю правду об оружии этому Бахметьеву.

– Товарищ Грибунин я отлично осведомлен, что вас в Петрограде снабдили оружием, – гость видимо заметил колебания Грибунина.

– Да, товарищ Ленин распорядился нам выдать один пулемёт «Максим», сто винтовок и пятнадцать тысяч патронов, – решил всё-таки ничего не скрывать Василий.

– Очень хорошо. Да вы можете здесь организовать отлично вооружённый отряд из сознательных, преданных советской власти бойцов. Оно у вас спрятано?

– Да, нет... оно в складской палатке, под охраной.

– Под такой же, как ваш лагерь? – скептически отреагировал Бахметьев. – Обязательно поставьте надёжный караул из коммунистов и будьте готовы в случае контрреволюционного мятежа здесь быстро его раздать и уходить в горы, в тайгу партизанить.

– Как же так, товарищ Бахметьев, я же говорил, мы же хлеб посеяли. Этот хлеб сам Ленин этой осенью в Петрограде ждёт. Я ему лично обещал, эшелон хлеба! – полученными инструкциями Василий был обескуражен более чем всеми предыдущими известиями.

– Товарищ, дорогой, я тебя понимаю. Если всё обойдётся и мятежа не будет, растите свой хлеб и отправляй эшелон. Кстати, товарищ Ленин, Совнарком и ЦК партии уже не в Петрограде. Было решено перенести столицу вглубь страны, в Москву. Ну, это так, к слову. В общем, если тут всё будет спокойно, то ничего и не надо, работайте, но боюсь, то о чём я вам толкую...

Бахметьев незаметно покинул штабную палатку и исчез из лагеря, незадолго до того как ударили в подвешенный кусок рельса, возвещая о начале обеденного перерыва... А уже в следующую ночь несколько доверенных коммунистов под началом Грибунина, тихо в тайне от всех начали рыть большую яму под полом в санитарной палатке. Рыли две ночи, а на третью так же тихо с величайшими предосторожностями перенесли все ящики с оружием и боеприпасами из складской палатки в медпункт и там же под свет керосиновых фонарей, сопровождаемые тревожными взглядами здесь же присутствующей Лидии, опустили в ту яму ящики, засыпали землёй, а сверху настелили доски и поставили ящики с медикаментами.

Василий не собирался выполнять приказ Бахметьева. Он не хотел раздавать оружие и уходить в партизаны. Поразмыслив, он сообразил, что им, городским жителям, никогда не жившим ни в горах, ни в горной тайге, к тому же лишь приблизительно знавшим как владеть оружием, никак не сладить здесь с местными казаками, обученными владению оружием с детства, к тому же имеющим фронтовой опыт. Да они оружейники, но не солдаты. А от крестьян-новосёлов он помощи уже не ждал. И главное, куда девать женщин с детьми? С собой партизанить в незнакомую местность их не возьмешь. Попросить, чтобы взяли к себе по домам крестьяне? Если и возьмут, то надежды, что будут их скрывать, оберегать и кормить – никакой. Василий решил, если возникнет ситуация о которой предупреждал Бахметьев, лучше просто переждать. А если нагрянут казаки, сказать, что они люди мирные, растят хлеб, и никакого оружия у них нет. Он пока что не сомневался, что советская власть всё равно устоит, победит, но главное, до той победы дожить, и потому рисковать жизнью своей и своей семьей он не собирался.

18

Не понравился Бахметьеву председатель коммуны. Вроде бы всё у него организовано, люди работают, дисциплина, поля зеленеют, на кухне обед варится, и красный флаг на ветру весело трепещет. Но разве так должен реагировать на предупреждение о смертельной опасности настоящий коммунист с дореволюционным стажем. Он ему о борьбе с контрреволюцией, а тот будто не слышит, всё что то свое думает. Хоть бы спросил с кем связь держать, если контрреволюционный мятеж случится, куда, случай чего, подаваться всем Обществом. Такое

впечатление, что он вообще воевать не собирается, а что-то свое замыслил. А что именно? На откровенность этого Грибунина вызвать так и не удалось.

С такими думами шёл Павел Петрович по дороге ведущей в Зыряновск. Тайный эмиссар областного Совдепа, работающий под «личиною» страхового агента, объезжал все «островки коммунизма» в Бухтарминском крае, с целью выработки единой тактики сопротивления в случае падения советской власти в области и уезде, вероятность чего была более чем велика.

Пешком Бахметьеву пришлось идти недолго, дорога Усть-Бухтарма – Зыряновск достаточно оживлённая и вскоре его нагнала очередная подвода. Мужик ехал в Зыряновск на базар и за полфунта махорки согласился подбросить «страхового агента». Засветло в Зыряновск не попали, потому ночевать свернули на хутор, принадлежавший рослому, костлявому, с руками длиной чуть не до колен старику и его большому семейству. Хутор был зажиточный: три избы, большая кошара в которой блеяли овцы, скотный двор, амбар, два сарая под сено. Чувствовалось что скотины хозяева держат немало, кроме овец слышалось и мычание коров, и лошадиный храп, свиное хрюканье. Всё это наполняло пространство не только соответствующим созвучием, но и запахом, от которого непривычному Бахметьеву приходилось морщиться и сморкаться в платок.

– Как сами-то, Силантий Акимыч, здоровы, скотина как, домашность? – по-местному поздоровался и подобострастно снял шапку перед встретившим их хозяином возница...

Силантию Дмитриеву было без малого восемьдесят лет. Эту землю, сорок десятин пашни и почти столько же леса и лугов пожаловали ему, отставному унтер-офицеру за безупречную двадцатипятилетнюю службу в рядах императорской армии, доблесть и героизм, проявленные в хивинском походе и русско-турецкой войне 1877-78 годов. В армию его забрали рекрутом в последние годы существования крепостного права, по спец-набору на крымскую войну. На ту войну Силантий так и не попал, но почти во всех последующих участвовал. Выслужив свой срок, в сорок пять лет Силантий был ещё крепок и силен. Возвращаться в свою Вятскую губернию, на плохую, скудную землю, он не захотел и остался где застал его конец службы, в Семипалатинске. Там ему и определили согласно повелению императора Александра III вот эту жирную землю. Здесь он женился на кержачке, которая по каким-то причинам не могла выйти замуж в своей деревне. Заплатив немалые отступные родственникам, вывез он ее из замкнутой кержачкой общины и поселился на своей земле, на хуторе, где и родились его трое сыновей.

Жена умерла шесть лет назад, и теперь старый унтер в одиночку командовал своим «семейным войском». Рачительным, прижимистым хозяином слыл Силантий. Его и казаки уважали – он служивый человек, и они служивые. Уважали и кержаки, но не за то, что женился на кержачке, после того как вышла она за «троеперстника» ее негласно отрешили от староверческой общины и с ней не роднились. Уважали Силантия староверы за трудолюбие и отвержение всяких телесных утех, таких как вино и всё прочее. А вот новосёлы Силантия недолюбливали и побаивались. Старик их тоже невзлюбил: как так, он за свою землю верой и правдой четверть века служил, и под пули, и в штыки ходил, а этим задаром, да ещё ссуду денежную давали. И уж совсем не по душе пришлись ему коммунары. Антихристы, царёву землю захватили, вот им уже за это воздастся. Царь для Силантия всегда был почти как Бог. Случившееся в 17-м объяснял просто, слаб был Николашка, никудышный царь, не то что папаша его. Потому свято верил, эти большевики недолго покалабродят, да сбегут и опять царь будет. Для старого служаки высшим авторитетом являлся император Александр III. Вот это царь так царь, и обличьем богатырь и мазурикам-варнакам спуску не давал, не то что сынок.

Бахметьева Силантий принял с радостью. Он горел желанием поговорить со знающим человеком из уездного центра, узнать скоро ли наступит конец всему этому колобродству... Бахметьев высказывался осторожно и сдержанно, смекнув что старый хуторянин как никто другой попадает под определение кулак, которых советская власть сразу и бесповоротно определила в разряд своих злейших врагов. Но уже вполне зрелые сыновья Силантия оказались не столь консервативны, и их Бахметьев попытался «прошупать». Вечером его с возницей пригласили за общий стол. Силантий жил в одной избе с младшим неженатым восемнадцатилетним сыном. Двое старших, тридцати и двадцатишестилетний, жили отдельно с жёнами и детьми. Для них срублены свои избы, но в горячую пору, как работали, так и завтракали, и обедали, и ужинали все вместе в отцовской избе. Вроде бы, здесь наблюдалось много общего с той же коммуной, но очевидна была и разница: стол накрыт куда богаче и разнообразнее, и сидящие за ним не казались такими измученными и уработанными, как коммунары. Казалось, не будь во главе стола сурового старика, сыновья, снохи и внуки, тут же почувствуют себя свободнее, начнут смеяться, шутить...

Бахметьев, не пообедавший у коммунаров, сейчас с аппетитом ел обыкновенную пшённую кашу. Ее так щедро заправили вяленой бараниной и сдобрили топлёным маслом, что он быстро насытился. А ему ещё налили две большие кружки парного, вечерней дойки, молока. Потом пришлось ещё отведать и свежего мёда в сотах – возле хутора Силантий держал пасеку, в несколько десятков рамочных ульев, качал мёд через медогонку и немало выручал, продавая его в Зырянковке и Усть-Бухтарме. После ужина женщины собрали посуду, а мужчины с гостями остались за столом, разговоры говорить. Дни стояли длинные и лампу зажигать, всё дорожавший керосин тратить, было без надобности. К счастью старик, разочаровавшись в осведомленности гостей, вскоре к ним потерял интерес, стал подслеповато шуриться и ушёл спать, после чего Бахметьев почувствовал себя свободнее.

Уже через несколько минут «разговоров» с сыновьями он определил, что те о царе особо не сожалели и больше интересовались не тем, кто там в Петрограде «наверх взошёл», а ценами на хлеб, мануфактуру. Второй сын Прохор, призванный в 14-м году в действующую армию, три года отвоевал на фронте и придя домой в середине 17-го в отпуск после ранения, назад в часть, несмотря на неодобрение такого поступка отцом, не вернулся. Старший Василий вообще не служил. Отец, дав крупную взятку фельдшеру, сумел его «отстоять». Хоть Силантий сам и был верный служака, но понимал, что если оба старших сына уйдут в армию, ему с младшим и бабами с таким хозяйством ни за что не справиться, а батраков он никогда не нанимал, не доверял чужим.

Бахметьев сообщил, что в России особенно в городах свирепствует голод. Кроме побывавшего на фронте Прохора, старший Василий и младший брат Федор, никогда не ездили дальше Усть-Каменогорска и настолько привыкли за свою жизнь к обилию продуктов, что просто не могли поверить в иное существование. Даже Прохор, знавший, что такое скудные солдатские харчи, не до конца верил в то, что говорил Бахметьев. А тот тем временем осторожно перевел разговор на коммунаров.

– Не нратся мне как у их, – сразу и безапелляционно заявил Прохор, унаследовавший от отца прежде всего его длиннорукость.

– А что так? – заинтересовался «мнением со стороны» Бахметьев.

– Сначала вроде посмотришь, весело, дружно живут, а присмотришься... Я на войне последнее время на Румынском фронте был, так вот, у них там в коммунии этой как в армии,

по команде с постели встают, по команде работают, по команде жрать садятся, спать ложатся. Наверное, и баб пользуют когда в рельсу ударят, все разом. Не, не нратся мне такая комуния. Это наш батя в солдатах по команде двадцать пять годов жил, а мне и трёх годов хватило, у меня такая жисть вот она где, – Прохор ребром ладони чиркнул себе по горлу.

– Зато справедливость, все поровну, никаких хозяев, атаманов, – осторожно встрял в разговор доселе молчавший мужик-возница.

– Да какая там справедливость, – отмахнулся уже Василий. – И у них все по-разному работу ломают. А председатель их тот же атаман, командует, а сам не сеет, не пашет, и косы в руки не возьмет.

– Ну, кто-то же должен командовать, – в свою очередь возразил Бахметьев.

– Должен... Да только простому работному человеку всё одно, кто над ним командует председатель ли, атаман ли, иль ещё какой барин-начальник, – твёрдо стоял на своём Прохор. – Я вот у свекра в Васильевке гостил, их деревня недалеко там верстах в десяти от той комунии, они их часто видют. Говорят, и живет этот председатель не как все они. Он бабу свою докторшей поставил, она в лазарете сидит цельными днями, а остальных баб и девок наравне с мужиками в поле, на огород, траву, молочай с осотом полоть гоняет. А докторша-то она совсем плохая. К ей васильевские бабы с хворями своими и с детьми ходили. Так она и лечить-то почтишто не умеет, и роды принимать не берётся. Только и может перевязать, да нашатыря дать – все ее лечение. И ещё говорили, что многие коммунары на председателя своо обижались, за то что и робят своих ото всех отделяет. Когда в станицу ездит в лавку, провизию для всех покупать, так не только пшено или соль, а втихаря конфеты с пряниками и всё только для своих, других никогда не побалуует. А председателыша втихаря робят своих и обучает грамоте, а остальные как хотят, пусть неуками растут, а ведь могла бы и всех собрать да обучать. Она, говорили, хоть и простого рабочего дочка, но шибко грамотная, в Питере в гимназиях обучалась...

Много совершенно неожиданных сведений о коммуне узнал Бахметьев из этого разговора, пока тускнея догорал за дальними горами закат. Услышанное органично дополняло его собственные наблюдения. Ближе к полуночи, когда собеседники уже плохо различали лица друг друга, Бахметьев всё же не удержался и стал высказываться в более просоветском, агитационном духе. Он не хотел, чтобы даже у этих кулацких сыновей сложилось отрицательное мнение о всей советской власти:

– Совместно, сообща трудящиеся смогут добиться куда большего, чем единолично, или даже как у вас тут на хуторе, большой семьей...

Младший и старший братья, возчик слушали с интересом. Прохор же спросил с подозрением:

– А ты, мил человек, страховой, не из большаков ли будешь? А то оне нам на фронте такие же речи толкали.

Бахметьев поспешил отшутиться, де куда мне такому плюгавому до настоящих большевиков, те в Совдепе сидят, по уезду пешком и на телегах не шастают. Просто он сочувствующий, а речи большевистские в газетах читал, и многое в них ему кажется правильным.

– Может и правильные, только меня в комунию никаким калачом не затащишь. Я на своей земле сидеть хочу, – с этими словами фронтовик Прохор встал и пошёл спать, как бы подводя итог спору...

– Ладно, спать пора, завтра с утра, отец рано подымет, – позёывая, поднялся вслед и Василий.

Младший брат, Федор, фактически не участвовавший в споре, поспешил вслед. Бахметьеву с возницей ничего не оставалось, как тоже идти на отведённый им для ночевки сеновал.

У всех живущих здесь людей были свои первостепенные дела, а то, что там где-то за горами творится, кто-то с кем-то борется, воюет за власть, это их интересовало постольку поскольку. Главное – вырастить хлеб, да накосить сена, чтобы зимой было чем кормить скотину...

19

Седьмого июня, когда Павел Петрович Бахметьев разговаривал с председателем коммуны, войска омского Совдепа, теснимые со всех сторон чехами, анненковцами, офицерами-членами подпольных организаций, были вынуждены оставить город, после чего там провозгласили власть Временного сибирского правительства. А десятого июня, когда Бахметьев встречался с зыряновскими коммунистами, казачьи отряды из усть-каменогорской станицы и ближайших к городу казачьих посёлков, которых поддержали офицеры из подпольной организации «Щит и престол», штурмом взяли крепость, разоружили отряд красной гвардии и арестовали членов уездного Совдепа. Руководитель мятежников войсковой старшина Виноградский объявил себя военным комиссаром Временного сибирского правительства, по городу Усть-Каменогорску и уезду. Тут же сообщили о свержении советской власти в почтово-телеграфные пункты уезда, и передали приказ всем должностным лицам государственных и общественных учреждений, существовавших до большевиков, вернуться к исполнению своих обязанностей. Данное распоряжение имело актуальность только для равнинной части уезда. В горных казачьих станицах и посёлках у власти как были, так и оставались станичные атаманы и выборная казачья администрация – станичный сбор, станичный суд. Во многих церквях уезда после переворота звонили колокола, служились благодарственные молебны.

В середине июня, когда наступил короткий перерыв в полевых работах – кончилась посевная, а сенокос ещё не начинался – в Усть-Бухтарме, в станичном правлении состоялось первое после свержения большевиков совещание членов станичного Сбора и атаманов посёлков, относящихся к станице. Станичный Сбор своего рода казачий парламент, он состоял из выборных стариков, избираемых по одному от каждых десяти дворов. Впрочем, по возрасту «старик» мог быть и не таким уж старым, главное условие, быть самостоятельным хозяином, старше 25 лет и отслужить обязательную срочную службу. До войны станичный Сбор избирался сроком на один год, но после выборов в пятнадцатом году его состав фактически не менялся. Члены Сбора закрытой баллотировкой избирали на три года и атамана. После того как впервые в 1907 году избрали Тихона Никитича Фокина, его неизменно избирали и в 1910, и в 1913, и в 1916 и сейчас его срок должен был истечь в следующем 1919 году. До октября 1917 года Сбор в основном решал вопросы межевания юртовой земли, постройки и ремонта станичных общественных зданий, назначения молодых казаков на первоочередную службу. Исполнительная власть сосредотачивалась в руках атамана. Ему в помощь избирали писаря, из числа грамотных с хорошим почерком казаков, желательно прослуживших срочную при штабах на писарских должностях. Для контроля за расходом общественных станичных сумм и проведения хозяйственных и коммерческих дел, из числа членов Сбора избирались два доверенных старика. Ну, а жалобы и семейные дела решал выборный станичный суд.

На этот Сбор старики пришли как на праздник, в форме с погонами. При появлении атамана все встали. Тихон Никитич, тоже в погонах и при шашке прошел за свой стол и поприветствовал членов Сбора:

– Здравствуйте господа старики!

– Здравия желаем, господин атаман! – дружно грянуло в ответ.

Сбор был собран, во-первых для объявления о смене официальной власти на территории всего Сибирского казачьего войска... Во-вторых, чтобы обсудить, спущенный из Омска и завизированный в Усть-Каменогорске во вновь начавшем функционировать управлении третьего отдела, приказ о начале проведения мобилизации молодых казаков рождения 1895 года, 96 и 97 годов для прохождения действительной военной службы в составе армии Временного сибирского правительства. После более чем полугодичной относительной анархии возвращались все старые порядки и условия службы казаков в армии: призыв всех достигших 21-летнего возраста на четыре года. Местом сбора для казаков третьего отдела на этот раз назначили Семипалатинск. Являться призывники должны были как и до революции со своим конём, пашкой, седлом...

Вроде бы всё как обычно, дело привычное, казачье. Но вот как выполнить это привычное дело сейчас, летом 1918 года, когда не только рабочие и крестьяне стали уже не те, что до октября 17-го, но и казаки уже не совсем те. Кроме вопроса о призыве стоял и ещё один, который надо было обязательно решить. Это избрание единого депутата от станицы на созываемый в июле 4-й войсковой казачий круг Сибирского казачьего войска, ну и ещё несколько более мелких, но тоже весьма важных организационных вопросов, типа повышения боеспособности станичных и поселковых самоохранных сотен для борьбы со все усиливающимся в горах бандитизмом. И ещё один неофициальный вопрос «висел» в воздухе: что делать в новых условиях с коммуной и коммунарами.

Окна атаманского кабинета плотно зашторены, у дверей и возле правления караул при пашках и винтовках. Члены Сбора безвылазно сидят третий час, рассевшись по старшинству вдоль стен кабинета, длинной прямоугольной комнаты. Во главе за столом восседает Тихон Никитич, рядом писарь, ведущий протокол. Атаман говорит вполголоса, спокойно, а вот остальные члены Сбора иногда срываются, нервно повышают голос. Особенно воинственно настроен атаман Черемшанского посёлка Архипов, относительно молодой сорокалетний казак:

– Мы должны исполнить в точности все предписания и заставить призывников всех трёх нарядов явиться на призывной пункт, если будут уклоняющиеся, заставить силой. А с лошадьми или без них, это не основной вопрос. Сейчас многие обеднели, так что ж с того, не выполнять нашу святую обязанность, чем жили наши отцы, деды и прадеды!?

– Да подожди ты... Что это за власть такая объявилась в Омске временная. Были уже одни временные, довели Россию до полного разора. А в этих временных, я слышал, опять всякой твари по паре, эсеры, кадеты, ещё чёрты кто. Их что ли распоряжения выполнять будем? – возражал атаман Александровского посёлка Злобин, приземистый, кряжистый, пятидесятилетний...

Все казачьи поселки год назад, как раз при Временном правительстве, когда был «разгул» демократии, вдруг ни с того ни с сего получили статус самостоятельных станиц. Но если для Дона или Кубани, где посёлки и хутора большие, многолюдные, эта самостоятельность была оправдана, то для других казачьих войск, где посёлки, как правило, небольшие и никак не могли самостоятельно решать все вопросы жизнедеятельности, это выглядело просто глупостью. Потому Березовский, Александровский, Вороний и Черемшанский посёлки по-прежнему неофициально признавали старшинство Усть-Бухтармы и ее атамана. Из этого ряда выпали, ранее также относящиеся к Усть-Бухтарме, посёлки Феклистовский, Ермаковский и Северный. Но это только потому, что находился очень далеко от головной станицы, и гораздо ближе к Усть-Каменогорску. Вот и сейчас «северяне», «ермаковцы» и «феклистовцы» даже не прислали на Сбор, ни своих атаманов, ни каких других представителей, видимо, предпочитая все вопросы теперь решать напрямую с управлением отдела. Тем не менее, голос и остальных

поселковых атаманов стал звучать на таких вот совещаниях куда более «громче» и независимее, чем раньше, когда все эти мелкие атаманы лишь согласно кивали головами. Более того, тот же Архипов пытался задавать тон. Вот и сейчас он оборвал Злобина:

– Ты там в своём александровском ущелье как сурок сидишь и не видишь ничего вокруг, не знаешь, что на свете творится. Кто тебе сказал, что мы будем выполнять распоряжение этого Временного правительства? Приказ о призыве спущен штабом Сибирского казачьего войска. Пойми, дурья голова. Мы и предки наши всегда эти приказы выполняли, и будем выполнять...

Тихон Никитич слушал атаманов, своих станичных стариков, но сам в основном помалкивал, давая возможность высказаться другим, пытаясь уловить «общественное мнение», ибо сам весьма и весьма колебался.

– Вот сейчас погоним наших молодых в Семипалатинск, оттуда их ещё куда-нибудь загонят в тот же Омск и дальше, с большевиками воевать куда-нибудь на Урал. А потом это временное правительство прикажет и второочередников мобилизовать, потом и до третьей очереди дойдёт. И с чем мы здесь-то останемся? А если новосёлы взбунтуются, или рабочие в Зырянске, или киргизня из-за Иртыша нагрянет, – Злобин как будто оправдывал свою фамилию, он с такой ненавистью смотрел на Архипова, словно тот его смертный враг. – Вона, в феврале в Верном семиречи также вот попёрли воевать против большевиков. Так что, рабочих, красногвардейцев нагнали, окружили их и разоружили. А киргизня в это время по станицам прошлась, казачек на их же перинах распинали, за 16-й год мстили. А казаки чуть не все в это время в Верном, в крепости сидели, и семьи свои оборонить не могли...

Мнения членов Сбора разделились, кто на радостях, что скинули большевиков, рвался исполнять все предписания от и до, кто советовал погодить, вырастить и убрать урожай, убедиться что власть Временного сибирского правительства заслуживает доверия и является серьёзной антибольшевистской силой. Все при этом посматривали на Тихона Никитича, понимая, что несмотря ни на что последнее слово останется за ним. А он не хотел сейчас затевать такое хлопотное и нелёгкое дело, как подготовка и отправка мобилизованных казаков на призывной пункт. Одно дело, когда данное мероприятие регулярно осуществлялось при царе. Тогда это считалось само-собой разумеющимся, каждый казак, достигший призывного возраста считал своим долгом идти на действительную службу. Но сейчас от всего этого удивительно быстро успели поотвыкнуть, наверняка будет и недовольство и противодействие. И потом, действительно, куда и в чьё подчинение попадут эти мобилизованные. Раньше было ясно, служить царю и отечеству, а сейчас кому? С другой стороны, Тихон Никитич опасался таких как Архипов, этот горлодёр вполне мог его заложить в отделе, или даже в войсковом штабе, объявить трусом, саботажником. Так же, впрочем, как и некоторые собственно станичные старики, как тот же хорунжий Щербаков, по возрасту тоже совсем ещё не старик, но пользующийся заметным влиянием в станице, особенно среди фронтовиков. Наконец, Тихон Никитич высказал и свое мнение:

– Господа старики, думаю, что нам надо выбрать среднее решение. Мобилизацию провести, но не всех. Кто сильно рвётся воевать, пускай идёт, а кто не может, если он семьи кормилец единственный, или ценный человек, которого можно использовать для охраны станицы или посёлка, то мобилизовать его здесь в охранную сотню. Но кто желает, тому не препятствовать, даже помочь, если средств на сборы не хватает, за счёт общества. Ежели уж наших казаков прибудет на сборный пункт немного, но чтобы все были на конях и полностью экипированы согласно арматурного списка. Так, чтобы нас уж если за одно ругать будут, так пусть за другое похвалят...

Это «соломоново» решение приняли большинством голосов. А Архипов скептически ухмылялся в усы и бормотал себе под нос:

– Ну, Никитич, ну лиса... Смотри только сам себя не перехитри...

После стали решать вопрос о делегате. И здесь Тихон Никитич вдруг неожиданно поддержал предложенного Архиповым его двоюродного брата, дескать не стало по-твоему в вопросе о мобилизации, на тебе место делегата и успокойся. Этот вопрос решали куда труднее, чем первый. Уст-Бухтарминские старики были недовольно, что делегатом от всех будет не «станичный», а «поселковый», казак. В конце концов Тихон Никитич уломал таки своих, не стали возражать и атаманы Александровского и Березовского посёлков, слишком зависимые от Усть-Бухтармы, где они пользовались почтой, телеграфом, а главное после закрытия своих поселковых школ возили сюда же учиться своих детей. Этому Архипов просто не мог не быть благодарным, и больше уже никак не выражал своего недовольства «большим» станичным атаманом.

– Теперь, господа старики, нам нужно обсудить, как поступить с питерской коммуной, – объявил следующий вопрос повестки дня Тихон Никитич.

– А что тут обсуждать, – подал наконец голос и Щербаков, до того почему-то особой активности не проявлявший. – Вон, глядя на них, новосёлы, киргизня тоже варначить начнут, казачью землю захватят и свою комунию учинят. Разогнать их пока не поздно, тогда и остальные угомонятся.

Егор Иванович Щербаков, тридцати пяти лет, до войны будучи вахмистром на льготе, в высшем станичном училище вел военную подготовку у мальчиков. Год провоевав на германском фронте, он сначала там же был произведен в хорунжии, а потом комиссован после тяжелой контузии. Тем не менее, контузия не помешала ему стать командиром станичной самоохраной сотни и по старой памяти проводить занятия с казачатами-школьниками. В общем, авторитет Егор Иванович в станице имел немалый.

– Нет, господа старики, это дело серьезное, так просто не разогнать, там одних взрослых мужиков сотни полторы будет и есть сведения, что они с собой много оружия привезли. Лишнее кровопролитие нам ни к чему, – твёрдо возразил Тихон Никитич...

Это совещание подвигло Тихона Никитича согласиться с дочерью и Иваном сыграть свадьбу раньше осени, пока относительно спокойно. Не надо было иметь особого чутья, чтобы предположить, что скоро настанут совсем другие времена, и будет уже не до свадеб. И ещё одного боялся Тихон Никитич, если объявили мобилизацию казаков-срочников, то наверняка скоро объявят и о мобилизации всех кадровых офицеров, в первую очередь молодых. Он понимал, что пока такая мобилизация не объявлена по той причине, что у войскового штаба офицеров более чем нужно. Ведь во всех более или менее крупных городах Сибири существовали тайные офицерские организации. Теперь те офицеры совершили переворот и претендуют встать во главе взводов, рот, сотен, полков. Войск у Сибирского правительства пока не много, но по мере проведения мобилизации их станет больше и опытные офицеры понадобятся в большом числе, и тогда наверняка призовут Ивана и неизвестно когда он опять вернётся, и вернется ли... Да, надо скорее играть свадьбу и поразмыслить, как освободить будущего зятя от неминуемой мобилизации. И ещё, Тихон Никитич знал, что первые враги для большевиков это богатеи и всевозможные старорежимные должностные лица. А он как раз был и тем и другим. В такое беспокойное время лучше, если дочь переберется в доме Решетниковых. Хоть Иван и офицер, но отец-то его не богач и не атаман, и сейчас в его скромном доме будет, пожа-

луй, безопаснее чем в атаманских хоробах. Недаром же большевики провозгласили лозунг: мир хижинам, война дворцам...

Среди всех этих тревожных ожиданий, пришла в фоминский дом и радость, в июле домой приехал сын Володя, воспитанник омского кадетского корпуса.

20

Володя и его друг Роман все это время, после исключения их большевиками из кадетского корпуса, прожили в семье своего офицера-воспитателя. Тому стоило немалых усилий, чтобы удержать юношей от опрометчивых поступков. Ведь большинство исключённых из корпуса кадетов старших классов не пошли по домам, а, снedaемые юношеской жадой подвигов, пристали к различным антибольшевистским отрядам, действующим в окрестностях Омска. Многие из тех безусых романтиков ушло в район станицы Захламихинской, где в землянках зимовал отряд есаула Анненкова, имя которого, после увоза из войскового собора знамени Ермака, окружил героический ореол. Немало кадетов шестых и седьмых классов приняли участие в боевых действиях. Особую зависть Володя и Роман испытали, когда их старшие товарищи промаршировали, встреченные цветами и овацями, по улицам освобождённого Омска, в составе анненковского партизанского отряда.

Сразу же после свержения советской власти учащихся исключённых классов восстановили в корпусе, также как и уволенных офицеров-воспитателей. Правда, вернулись далеко не все кадеты, многие предпочли и дальше воевать. Володе и Роману, как и прочим исключённым кадетам, зачли их невольный отпуск и перевели в следующий класс и как обычно в июлепустили на каникулы. Друзья ехали домой в полной уверенности, что уже ничего подобного тем февральским событиям не произойдёт, и они в сентябре продолжают учёбу. До Усть-Каме-ногорска плыли на пароходе. Роман уговорил Володю погостить в их доме. Володя согласился, но уже через день не выдержал, сел на первый же идущий «наверх» пароход и, что называется, как снег на голову, неожиданно явился в свой дом, где уже полным ходом шли приготовления к свадьбе.

За последние полгода Фомины получили всего два известия о сыне, первое письмо Боярова, отправленное в феврале, и второе уже в мае от самого Володи, в котором он сообщал, что живёт у Николая Николаевича, и что тот не советует ему ехать домой, пока на дорогах царит анархия. Потому его, в общем-то, не ждали. Приезд сына на время отвлек всех домашних от предсвадебных хлопот. Домна Терентьевна сделала чуть не ежедневным ритуал обязательных слёз при обнимании по утрам сына и прижимании его к своей мощной груди. Так что отцу уже требовались некоторые усилия, чтобы освободив из материнских объятий, спокойно и обстоятельно выпрашивать Володю обо всём, что творилось на его глазах в столице Войска. Из сбивчивых рассказов сына Тихон Никитич всё же уяснил, что в Омске к власти пришли совершенно разные и малоизвестные люди, а управление всем Сибирским Казачьим Войском возглавил генерал Иванов-Ринов.

– Ишь ты, как его высоко вынесло-то, этого рулетчика, – качал головой Тихон Никитич.

– Ты что знаешь его, отец? – не понял родителя Володя. – Генерал Иванов-Ринов фактически сверг большевиков в Омске. Это он организовал офицерскую организацию у них под носом, а потом выступил в решающий момент. В нашем корпусе его фотография висит на доске лучших выпускников за 1888 год, с гордостью поведал сын, но вызвал лишь усмешку отца.

Тихон Никитич знал Иванова задолго до того, как к его фамилии была сделана «подпольная» приставка Ринов, по совместной службе в Зайсане в 3-м сибирском казачьем полку в 90-е годы. Именно там он убедился, что отличная учёба в кадетском корпусе и юнкерском училище вовсе не означает, что это будет обязательно отличный офицер. Тогда молодой хорунжий Иванов отличался вовсе не тем, что хорошо командовал вверенной ему полусотней, а браконьерством на сопредельной китайской территории и игрой в «русскую рулетку». В результате последнего «увлечения» он всадил себе в грудь пулю и едва остался жив. Потом их пути разошлись, и хотя Иванов участвовал и в японской, и в мировой войне, но там он не особо отличился, а получал чины и награды в основном по протекции, так как являлся сыном полковника, имевшего давние связи в штабе Войска. По настоящему же он отличился в 16-м году, но не на фронте, а при подавлении восстания узбеков в Джизакском уезде Ташкентского генерал-губернаторства. Всё что знал Тихон Никитич о способностях и «боевом пути» свежееиспеченного войскового атамана не могло вселить в него особого оптимизма.

– Хотя... если он ограничится выполнением внутривойсковых административных задач и не возьмётся командовать войсками на фронте, то может и не наломает много дров, этот рулетчик, – бормотал себе под нос, чтобы никто не услышал, Тихон Никитич.

Когда после матери и отца Володя попадал в «руки» Полины, здесь уже имели место совсем иные вопросы. Брат и сестра жили вместе в родительском доме не так уж много времени. До поступления в кадетский корпус, когда Володя был ещё маленький, Полина, уже будучи гимназисткой, большую часть года проводила в Семипалатинске. И в дальнейшем, когда Володя стал кадетом, они встречались только на каникулах. Может потому, что отношения меж ними всё время складывались в основном на расстоянии с приветами в письмах друг другу, они не приобрели ни ощущения взаимного надоедания, ни ревностной борьбой за любовь родителей, что нередко случается в семьях с разнополыми детьми. Будучи на шесть лет старше, Полина привыкла брата опекать, а тот относится к ней внешне со сдержанным уважением, но в то же время он ею всегда восхищался. Он не понимал, как это сестре всё так легко удаётся, и хорошо учится, и красиво, хоть и вызывающе одеваться, и в то же время быть любимой и родителями и окружающими. Самому Володе всё давалось куда труднее.

– Володенька, ты должен мне рассказать, что сейчас носят в Омске тамошние барышни, какие платья, шляпки там в моде. Ведь ты уже большой и наверняка интересуешься девочками, а?...

Не видевшая брата целый год, Полина вдруг осознала, что ее некогда маленький братик вдруг превратился в эдакого интересного рослого юношу с пробивающимися усиками. Затащив его в свою комнату и поставив перед зеркалом она, скинув туфли на каблуке, встала рядом, и воочию убедилась, что он стал выше её, хотя год назад уступал не меньше вершка...

– Поля, в эту зиму тамошние барышни меняли свои платья и шляпки на хлеб. В Омске голодуха была, большевики не смогли организовать подвоз продовольствия, позакрывали и реквизировали многие продуктовые лавки, и все выживали, как могли. Я с Ромкой, с товарищем моим, чтобы помочь семье капитана Боярова, ходили за город копать неубранную осенью картошку, мёрзлую. Ею, сладкою, противною и спасались. Николая Николаевича из корпуса большевики уволили, и он уже не мог паек приносить, а у них с женой ведь двое маленьких детей, девочки и нас двое здоровенных на шее было, насили пережили март и апрель. Кроме пищи, надо было где-то и дров доставать, чтобы не замерзнуть. Так вот и жили, супруга капи-

тана свои вещи на продукты меняла, а мы по городу рыскали, заборы растаскивали, чтобы печку топить.

– Представляю, – игривое выражение сошло с лица Полины, и она покачала головой. Тем не менее, девичье любопытство взяло своё. – Но неужто... что же там совсем никаких развлечений не было, такой большой город. Как же люди терпели эту власть?

– Какие там развлечения, вечером и ночью комендантский час, патрули. Если патруль из матросов к ним вообще лучше не попадать, живыми не выпустят, всё равно мужчина, или женщина. За эту зиму столько народа попропадало, – рисовал жизнь при советской власти Володя.

– И куда же они девались? – спросила со страхом в глазах Полина.

– Потом по весне, как лёд сошёл, трупы стали всплывать голые, распухшие. Ясное дело, убивали и втихаря в проруби топили, – поведал жуткую правду Володя.

После таких разговоров Полина начинала понимать, что брат в свои пятнадцать лет за последние полгода повидал и пережил такое, что расспрашивать его про причёски и платья было неуместно. Она искренне пожалела так несвоевременно повзрослевшего брата, обняла Володю за голову, наклонила к себе, в глазах появились слёзы:

– Господи... что же везде творится, как же такое допускают. Володенька, мальчик, бедненький, ведь и тебя могли там убить. Слава Богу, всё кажется позади, везде этих антихристов выгоняют. Ты только маме о том, что мне говорил, случайно не обмолвись, а то переживать станет.

Володя, растроганный приступом нежности у сестры, то же смущённо позволил себе в ответ обнять ее, хотя всегда выступал против подобных «телячьих нежностей» в их взаимоотношениях. Впрочем, того же принципа придерживались большинство кадетов, но дома им иногда очень хотелось побыть просто детьми, чтобы их пожалели, приласкали. Володя всякий раз удивлялся, когда Роман Сторожев, в дом к которому он часто заезжал по пути домой, при встрече с матерью сам не может сдержать слёз. Нет, он сам, конечно, как и положено любящему сыну позволял себя обнимать, целовать, но залиться вместе с матерью слезами – у Володи даже позывов к тому не наблюдалось. Потому его и поразило поведение сестры, ведь раньше с ее стороны в свой адрес он не наблюдал подобной сердечности. Более того, имело место даже своеобразное с ее стороны «воспитательство». Полина частенько над младшим братом и посмеивалась, любила им командовать, а иногда и поколачивала. Это продолжалось до позапрошлого лета, когда 13-ти летний Володя приехал на каникулы из корпуса, а сестра после окончания педкласса при гимназии. Как-то она по старой памяти попыталась отвесить младшему брату подзатыльник. Он ловко перехватил ее руку и предупредил, что в корпусе их обучают приемам джиу-джитсу, и он больше не позволит ей себя бить. Полина все же попыталась осуществить свое намерение, но тут же убедилась, что несмотря на внешнюю худобу и тогда ещё небольшой рост брата, она не может с ним справиться.

С тех пор, как это ни странно, их отношения стали куда более тёплыми и доверительными. То, что сестра выходит замуж за Ивана Решетникова, Володя воспринял с пониманием и искренне радовался за неё. Ему нравился Иван. Володя не сомневался, что Иван потому и сидит в станице, а не идёт воевать с большевиками, что хочет сначала обвенчаться с Полиной, а уж потом уйдёт к Анненкову, как его брат Степан. Сейчас он охотно беседовал с женихом сестры, когда тот приходил к ним. Иван расспрашивал о корпусе, событиях этого года в Омске, интересовался, кто из старых преподавателей и воспитателей остались там, а также наводил справки о знакомых офицерах, которые по его сведениям должны были находиться в Омске. От Володи он узнал о бедственном положении, прежде всего материальном, тех офицеров, что

вернулись с войны и остались без средств, ибо большевики отменили им все пособия, включая инвалидов и георгиевских кавалеров.

Володя знал, что в Усть-Бухтарме советской власти как таковой не было ни дня, но он, проживший полгода при ней, сражавшийся против нее, хоть и не с настоящим оружием, а всего лишь с «цигелем» в руках, и потом несколько месяцев выживавший в замерзшем полуголодном Омске... Он был крайне удивлен, что здесь в станице в основном живут так, как и прежде, будто ничто и нигде не происходит, по улицам ходят хмельные весёлые казаки, смеются и шушукаются молодые казачки. Но осуждение одностаничников не переносилась им на родных, хотя домашний стол по-прежнему ломился от разнообразной снеди, мать, само олицетворение сытости и довольства, властным голосом покрикивает на прислугу и батраков, так же как и два, и три года назад. Сестра, хоть вроде и понимает всю серьезность положения, но ее по-прежнему, куда более занимают модные тряпки, все мысли только о свадьбе. Нет, это как-то казалось само-собой разумеющимся, неприкасаемым, привычным с детства, незыблемым. А вот то, что в станице каждый вечер играют гармонии, поют весёлые песни и частушки, парни зажимают девчат, а те деланно-испуганно взвизгивают, как в старое доброе время, много подвыпивших, все также по воскресеньям ходят в церковь, молятся... Ему, видевшему Омск в первой половине 18-го года, мирная, почти не отличающаяся от прежней, жизнь родной станицы казалась какой-то нереальной. И лишь отец показался Володе совсем не таким как прежде, за последний год, он как будто состарился сразу на несколько лет. Отец, похоже, понимал и его состояние:

– Ты Володь отдохни, тебе в этот год много чего досталось. От нас-то эти лихие события вдали были, мы о них только понаслышке, а ты считай чуть не в самую гущу угодил. Но у тебя есть дом и твоя семья, как не в родительском доме от всего такого и отдохнуть...

21

Свадебные обряды у казаков в различных казачьих войсках Российской Империи имели немало общих черт, но были и существенные отличия. Здесь, прежде всего, сказывалось то, что войска эти имели неодинаковое «происхождение». Донское, Уральское и Терское сложились в основном из беглых крепостных крестьян и староверов, Кубанское из насильственно переселённых запорожских казаков и тех же староверов... А казачьи войска Азиатской части империи явились «продуктом» колониальной экспансии на Восток и имели регулируемый государственный посыл. Сибирское казачье войско формировалось в основном из государственных крестьян, выходцев из центральных и северо-русских губерний, а также из мордвы.

Еще одной характерной особенностью «сибирцев» было то, что оно являлось одним из самых «русских» казачьих войск России, так как их переселяли сразу семьями, и не было острой необходимости искать женщин среди окружающих народов. Если среди донцов, не говоря уж о кубанцах имелся значительный процент украинцев, у терцев – небольшой осетин, забайкальцы так сильно мешались с бурятами, что частично даже приобрели характерную раскосость... У сибирцев кроме небольшой мордовской прослойки почти не было, так называемой, инородческой крови. Впрочем, разве мордва инородцы, такая же вера, имена, фамилии, да и внешность неотличимая. В жены сибирские казаки брали только казачек, изредка кержачек, крайне редко ойроток (джунгарок), и почти никогда киргизок – они считались низким народом. Оттого и внешне сибирские казаки смотрелись как обычные русские люди, разве что мордовская кровь вносила некоторую характерную круглолицесть и белесость. Если говорить о свадебных обрядах, то в его отдельных деталях даже у казаков одного войска наблюдались существенные отличия. У казаков 3-го отдела Сибирского казачьего войска имелся некоторый

определенный ритуал, от которого старались не отступать, хотя с каждым годом старых традиций придерживались всё менее строго.

Решетниковы и Фокины договорились о свадьбе ещё в феврале, но официальное сватовство произошло, как и полагалось за месяц, в конце июня, чтобы свадьбу сыграть в промежутке между сенокосом и уборкой урожая, то есть в конце июля – начале августа. Сватать поехали родители жениха, его крестные и он сам. Но на этом следование традициям закончилось, согласно которым родители девушки сразу не должны были давать согласия, а всячески «тянуть волынку», де дело серьезное, надо подумать, посоветоваться... Здесь и согласие было получено сразу и невеста появилась, и все перипетии предстоящей свадьбы стали обговаривать тут же, все вместе. Тихон Никитич хотел, чтобы свадьба была относительно скромной, дескать, время уж больно тревожное, но сваты воспротивились: как это так, сына-офицера выдаём за дочь станичного атамана, нет должен быть пир на весь мир, то бишь станицу. И ещё, Игнатий Захарович настоял, чтобы атаман принял, как и положено, дары для невесты и ее родственников.

А вот что касается места проведения свадебного гулянья, традиции отбросили напрочь. И хоть для родителей жениха это было, в общем-то, обидно, но здесь они согласились – большой атаманских дом и просторный двор перед ним, конечно, лучше подходили для этого, чем их сравнительно небольшой дом и тесный заставленный хозяйственными постройками двор. Вот только сватья Лукерья Никифоровна к Домне Терентьевне пошла в добровольные помощницы и упростила ее принять в общий расход часть ее съестных припасов. В том, конечно, не было никакой необходимости, и рабочих рук в атаманском доме было предостаточно, и кладовые, амбары и ледник ломались от заготовленных впрок всевозможных продуктов...

Весь июль прошёл в обычных хозяйственных заботах, но о свадьбе не забывали не только в семьях жениха и невесты, но и во всей станице. Одни готовились, другие ждали: попьём, погуляем. Предстоящая свадьба как-то отодвинула на второй план и приходящие с опозданием на дни, а то и на недели довольно противоречивые новости из Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Омска... Временное Сибирское правительство издало постановление о возвращении владельцам их земельных угодий, реквизированных при большевиках. Для казаков это имело немаловажное значение, ибо после постановления пробольшевицкого январского 3-го войскового круга, о реквизиции земельных излишков, много казачьей земли, ранее ими сдававшейся в аренду, захватили новосёлы-арендаторы. Теперь эти земли возвращались. Слуцаев захвата особенно много случилось в Усть-Каменогорске и прилегающих к нему казачьих посёлках. Но в Усть-Бухтарме этого не было, здесь ни один новосёл-арендатор не решился захватить землю даже у вдов-казачек, потому как знали, стоит женщине пожаловаться в правление станичному атаману, и тому новосёлу мало бы не показалось. Единственная неприятная новость была, конечно, предстоящая мобилизация во вновь организуемую белую армию. Но, опять же, в первую очередь станица жила ожиданием свадьбы.

За несколько дней до венчания опять вспомнили о традициях – у невесты устроили «девичник». В этот день к ней должны были приходиться подружки и топить баню. Полина, с ее необычным для станицы воспитанием и образованием подруг-ровесниц в станице почти не имела. Пригласили, более или менее подходящих по «чинам и званиям» дочь станичного писаря, племянницу лавочника, родственника богатейшего усть-каменогорского купца Ожогина, племянницу попадьи, воспитанницу томского епархиального училища. Также в обряде хождения невесты в баню должна участвовать сваха, мать жениха. Но Лукерья Никифоровна отговорила, сказав что полностью верит в отсутствии у невесты «какого-то ни было телесного

изъяна», и смотреть, смущать Полину не станет. Злые бабы языки тут же разнесли сплетню, что тощая Решетиха сама постеснялась показать свои кости рядом с такой сдобной невестой. Так что и этот обряд прошёл поверхностно, ибо в конце концов в баню с Полиной пошла попадья, она и засвидетельствовала то, в чём и без того никто не сомневался – товар высший сорт.

Странно смотрелся Иван в своём парадно-выходном офицерском мундире, который до того одевал всего два раза, на выпуск из юнкерского училища и когда после выпуска приехал домой в отпуск – порадовать родителей. Он, конечно, сильно отличался от так называемых потомственных офицеров, как правило, никогда не знавших сельского труда, потому старался прятать, не выставлять напоказ свои руки. Ведь за время прошедшее после его возвращения с фронта, они вновь стали больше напоминать руки крестьянина, чем офицера. Кем, впрочем, и являлись по происхождению большинство офицеров вышедших из казачьей среды, как и все прочие казаки – воины и крестьяне одновременно. Зато невеста совсем не смотрелась казачкой. С детства балованная, в гимназии и купеческом доме воспитанная, Полина и выросла настоящей барышней, но барышней, если можно так выразится, не классической, хрупкой, воздушной, а упругой, сильной, жаждущей движения, жизни. Внутри ее играла, бурлила казачья кровь, о чём свидетельствовали персиковый румянец на бархатных щёчках, волнующиеся под тонким шёлком подвенечного платья выступы высокой груди, одновременно счастливое и бедовое выражение лица. Если Иван старался, как можно глубже спрятать свои большие «мужицкие» ладони в рукава мундира, даже во время обмена кольцами, то Полина, напротив, ничуть не стеснялась своих явно «нетрудовых» нежных ладошек, которые, казалось, вот-вот восторженно захлопают, когда отец благочинный провозглашал:

– Сочетаются муж и жена в помощь и восприятие рода человеческого...

Когда молодые, он в мундире с «золотыми» сотническими погонами, она в белом подвенечном платье в венце с лентами, выходили из церкви, вокруг, как и положено началась пальба в воздух, не смолкавшая минут пять. Полина всё это воспринимала восторженно, выстрелы ее совсем не пугали. Иван же с трудом сдерживал дрожь, и гримаса напряжения не сходила с его лица, пока стрельба не прекратилась – слишком много тягостных воспоминаний навеяла она боевому офицеру, всего полгода как вернувшегося с фронтов мировой войны и подавления инородческого бунта.

После прибытия свадебного поезда в атаманский дом, наскоро провели ритуал с косой. Свахи с обеих сторон расплели толстую косу Полины надвое и закрутили её вокруг головы, то есть «окрутили» по бабьи. В это время дружки и подружки обходили почти всё казачье население станицы, с приглашением принять участие в свадебном гулянье. Также заранее пригласили всех атаманов окрестных казачьих посёлков и родственников Домны Терентьевны из Черемшанского, и Большенарымского поселков, а Решетниковых из Красноярского. Хоть и не желал вселенского шума Тихон Никитич, ибо всё это напоминало пир в преддверии надвигающейся чумы, но, похоже, кроме него, и может быть в некоторой степени Ивана, никто этого не ощущал, не предчувствовал. Сваты, жена, родственники, да и вся станица считали, что атаман должен дочь выдать замуж по атамански, чтобы о той свадьбе потом долго вспоминали.

В первый день, венчания, был устроен брачный ужин, на котором присутствовали только родственники и наиболее влиятельные и состоятельные из приглашённых гостей. В большой гостиной атаманского дома накрыли столы. Сначала поздравили молодых, потом женихову и невестину родню. В первый день свадебного гулянья всё было чинно, гости в основном приглашены уже не молодые, солидные. В конце брачного ужина новобрачные обходили гостей, угощая их вином, а те отдаривались деньгами. Здесь, конечно, всех «переплюнул» дальний

родственник купца Хардина, тридцатилетний приказчик Илья Буров, заведовавший в станице складами своего «благодетеля». Извинившись за хозяина и его семью, которые из-за нестабильной обстановки не смогли приехать на свадьбу, он и от их и своего имени высыпал на поднос, который держала Полина, аж сто царских золотых рублей. Среди гостей пошёл гул. Все понимали, что выложить такую значительную сумму, да ещё золотом Бурову приказал сам Ипполит Кузмич Хардин, пославший ему соответствующую телеграмму. Тем не менее, остальные не могли себя не почувствовать уязвлёнными. Даже некогда очень богатые люди за время войны и революции немало поиздержались и далеко не безболезненно могли «положить на блюдо» в лучшем случае пятьдесят целковых николаевскими, а то и вообще отдаривались керенками.

– Нда... золотишко-то оно, всегда и везде золотишко... Нее, нам с Хардиным не тягаться... вот это отвалил... – слышались завистливо-восхищённые, а то и возмущённые перешептывания.

Но не только Буров удивил. Неожиданно крупно отдарился и единственный из всех приглашённый киргиз, бай Арасланов, седобородый аксакал с аула Манат, что располагался на левом берегу Иртыша. Это был старый знакомый и приятель Тихона Никитича, у которого он обычно покупал лошадей и баранов на племя. Арасланов дал не деньги, он положил на поднос увесистый слиток серебра. И это вызвало восхищённый гул и перешёптывания. Все прикидывали, сколько этот самородок может стоить. По примерным прикидкам наиболее опытных оценщиков получалось никак не менее 70-80 золотых рублей...

У Полины дар Арасланова вызвал не радость, хотя она благодарно сделала полукниксен, а воспоминания пятилетней давности лета 1913 года, за год до начала этой ужасной войны. Тогда Тихон Никитич ездил осматривать свои табуны, пасущиеся на левом берегу Иртыша и заодно решил заехать в Манат, так как был приглашён Араслановым, первым богачом аула, на какое-то тамошнее празднество. Полина до того никогда не видевшая байги, упростила отца взять ее с собой, а заодно в качестве сопровождающего, только что прибывшего на летние каникулы из юнкерского училища Ивана. Тогда ещё Тихон Никитич даже не планировал в будущем отдавать Полину за него, но устоять против настойчивых просьб дочери и ее «хитрых» слез он не смог и согласился. Иван смотрелся отменно: восемнадцатилетний юнкер в новенькой форме. Он немного смущался отца Полины, зная что тот не очень благоволит их как очным, так и заочно-эпистолярным отношениям. Так вот, на том празднестве Полина впервые увидела, насколько забиты и бесправны у киргиз-кайсацев женщины. Даже празднично одетые в белые чувлуки и яркие фаевые кофты, они не могли ни вслух, ни выражением лица показывать свои чувства во время скачки-байги, в то время как она, сорвав с головы шляпку, махала ею, и во весь голос визжала от восторга, не обращая внимания на недобро косящихся на нее киргизов, особенно пожилых. Однако власть и авторитет станичного атамана был настолько высок в границах волости, что никто не решился сделать замечание его дочери.

И потом, когда Тихон Никитича и Ивана как дорогих гостей пригласили в празднично украшенную юрту отведать шурпы и бешбармака из молодого барашка, она естественно пошла тоже, и оказалась единственной там девушкой. Киргизы, даже летом в теплых ватных халатах-чапанах, сидели «ноги под себя», а гостям принесли маленькие скамеечки... ей тоже принесли. Тогда шестнадцатилетняя Полина не понимала, что нарушает бытовые законы киргиз-кайсацкого домостроя. Отец, конечно, это знал, но нарочно не одергивал дочь. Ведь здесь на обоих берегах Иртыша он считался самым влиятельным лицом, хоть официально и не являлся гражданским волостным начальником. И киргизы вынуждено делали для нее исключение, которого никогда не делали для своих женщин.

Впрочем, тогда, в той юрте женщины-киргизки были, они прислуживали гостям. Полина отчётливо помнила пиалы с дымящимся бешбармаком на кошме, а вокруг сидят одни мужчины... и она. Зажиточные киргизы, как правило, жирные, ели некрасиво, чавкали и ... пренебрежительно оглядываясь через плечо, бросали кости и произносили отрывисто-пренебрежительное «Мя...», что означает, бери, лови. Это «Мя» относилось к прислуживающим женщинам, жёнам и прочим родственницам хозяина... И женщины ловили, подбирали упавшие на кошму объедки и спешно уносили с собой, чтобы потом, где-нибудь в укромном уголке, доест, что осталось на тех костях. В большинстве киргизских семей женщины в основном так и питались, доедая, то что оставалось от мужчин, оттого и смотрелись они часто чрезмерно худыми, измождёнными, рано старились. Их удел в жизни быть тихими, забытыми, незаметными как тени. Сейчас Полина, принимая серебро от Арасланова вдруг всё до мельчайших подробностей вспомнила и подумала, как воспринимает этот бай русские обычаи, то что русские жёны зачастую значительно толще своих мужей, сидят рядом с ними, так же едят, пьют вино, поют песни, выкрикивают непристойные частушки?...

Постель для новобрачных приготовили в хорошо им обоим знакомой комнате Полины. Брачная ночь не стала таким уж откровением для жениха и невесты. Они уже достаточно хорошо знали друг друга, его руки ее тело, ее тело его руки. Так что всё, что полагалось делать супругам в постели у них получилось настолько просто и естественно, будто делалось ими уже далеко не в первый раз...

А с утра следующего дня уже накрыли много столов, как в самом доме, так и во дворе, благо погода позволяла. Во второй день были допущены к гулянию уже все, и неженатая молодёжь, и даже дети. Но сначала специальной «депутации» продемонстрировали окровавленную простынь, на которой спали молодые и ночную рубашку невесты. Впрочем, в невесте никто и не сомневался. Несмотря на экстравагантность поведения Полины, ее нарочито смелую манеру одеваться, заподозрить ее в «грехе» не могли даже самые острые на язык сплетницы, разве что с Иваном до свадьбы, ведь они так часто оставались наедине... Но это, впрочем, неофициально большим грехом уже не считалось, а так маленьким прегрешением, о котором и говорить-то особо не стоило...

22

Второй, главный день свадебного гулянья. На самых почётных местах, по обе стороны от молодых, сразу за родителями, сидят: благочинный отец Василий с супругой, заведующий высшего станичного начального училища со своей женой, далее родственники, поселковые атаманы, георгиевские кавалеры, члены станичного Сбора, большинство одеты по форме, с крестами и медалями. Женщины в праздничных платьях или «парочках», кофте и юбке, сверху в обтяг, юбки широкие длинные. Особо внушительно смотрелся бюст Домны Терентьевны, подчёркнутый тонкой зеленью муслинового платья, сшитого из подаренного сватами отреза. Рядом с ней сватья Лукерья Никифоровна смотрелась увядшей и истлевшей прошлогодней травинкой. Тихон Никитич оделся сравнительно неброско, застёгнутый на все пуговицы казацкий чекмень без погон никак не подчёркивал, что он является носителем немалой власти.

– Что ж ты сват ни погоны свои, ни кресты с медалями не одел? Чего стеснялся раз заслужил, – уже принявший немало чарок Игнатий Захарович, бренча «Георгием», медалями «За храбрость» и «За усердие» не скрывая радости, лез к атаману с разговорами.

Но Тихон Никитич выпивал и закусывал мало, на вопросы быстро осоловевшего свата отвечал односложно, отшучивался, де, не меня женят, чего красоваться... Станичники, в первую очередь фронтовики, за четыре года войны и революций соскучились по настоящему веселью с изобилием выпивки и закуски, напротив, угощались, себя не ограничивая. По тем же причинам казачки разоделись, кто во что мог. Даже бедные, а таковых за последние годы в станице появилось немало... так вот, даже бедные не желали на свадьбе выглядеть таковыми. У казаков понятие бедный, но честный никогда не считалось достоинством и добродетелью. Если ты казак, здоров, с руками с ногами, имеешь надел юртовой земли, как хочешь вертись, но чтобы у тебя был не задействованный в хозяйстве строевой конь, седло с прибором, шашка – это первое, а второе, чтобы твои жена и дети были одеты, обуты и сыты. С той же женой дома, за забором, ты всё что хочешь делай, хоть ногайкой стегай, но на людях баба твоя должна иметь справный вид. И на всех празднествах именно среди казачек шло негласное соперничество, кто лучше оделся, кто глаже выглядит, чья жена или дочь. И на эту свадьбу, если казаки в основном оделись довольно однообразно, по военному: гимнастёрки, шаровары, чекмени, ермаковки, картузы, сапоги..., то большинство сидевших за столом казачек источали многообразие и многоцветье видов женской одежды. Несмотря на сухую и тёплую погоду многие щеголихи в высоких ботинках с галошами. Для того, чтобы на свадьбе побольше поесть за счёт хозяев, большинство гостей с утра не завтракали и здесь наваливались на еду – атаман богатый, не обеднеет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.